

Иван Лукаш

Пожар Москвы



Иван Лукаш

Пожар Москвы

«Public Domain»

1930

Лукаш И. С.

Пожар Москвы / И. С. Лукаш — «Public Domain», 1930

«...Дверь задрожала, лай смолк.— Отоприте, отоприте, – навалились, бьют кулаками, треснула створка, дверь распахнулась и рухнули все в темноту, руками вперед. <...>Они в парадных мундирах, у всех шпаги сзади, по воинскому обряду. Они столпились на пороге, тяжело дышат. Мерцают их ордена и алмазные звезды. Над толпой колыхается пар. Платон Зубов что-то сказал и присвистнул. И потому, что он присвистнул, эта огромная спальня и помятая, еще теплая постель, эта ночь, заговор, отречение, император – все торжественное и небывалое, для чего они взбили парики, надели ордена и парадные мундиры, внезапно стало иным и неотвратимым...»

© Лукаш И. С., 1930

© Public Domain, 1930

Содержание

Пролог	5
I	5
II	8
III	9
IV	10
V	12
VI	16
VII	18
IX	20
X	22
XI	24
XII	26
Пожар	28
I	28
II	31
III	34
IV	37
V	39
VI	42
VII	44
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Иван Лукаш

Пожар Москвы

*Памяти моего отца, ефрейтора Финляндского полка Созонта
Никоновича Лукаша*

Пролог

I

Император и Великий Протектор ордена Святого Иоанна Иерусалимского, высокий, блистающий, в далматике красного бархата и в черном мальтийском плаще, медленно сходит с трона. По черному орлу движется косым углом его тень. С глухим шумом склонилась толпа оруженосцев, командоров, мальтийских рыцарей в красных кафтанах. Воск окапал пряжки на башмаках и огни свечей заострились.

Гайдук, облитый бледным золотом, толкнул дверь спальни. Император провел по лицу смуглой ладонью, пожевал морщинистыми губами: он хочет пить.

В спальне императора разоблачил граф Кутайсов, черноглазый, с белоснежным хохлом и бархатными, точно озябшими, глазами. Граф касался шеи и затылка императора и немного растрепал на воротнике мантии черные кружева.

Император сам снял через голову орденскую цепь и шелковый мальтийский позумент с вышитыми вязью Страстями Христовыми. Двумя руками, как бы расшатывая, он поднял над головой алмазную корону, для которой граф подал потертый футляр: от бархатного дна дохнуло затхлостью и духами.

А когда граф снял с императора его мальтийскую мантию, в креслах, где высился в мерцании алмазов Великий Протектор, стал виден, как бы в мгновенной и волшебной подмене, маленький, сухощавый человек в зеленом Преображенском мундире с красными отворотами. Наморщены белые чулки на тощих ногах.

– Благодарю, граф, – послышался сиповатый голос. – Поди, доброй ночи.

Павел утирает фуляром влажные впадины у курносого носа, влажную косицу, завернутую в пучок, и примятые на висках букли. Его бледно-желтое лицо склонилось над свечой. Грифоны сплелись на шандале, кусая друг другу хвосты, и в черное чудовище сошлись на шпалере угол кресел и голова императора. На бархатном тюфячке, у ширмы, повозился белый шпиц. Он вытянул легкие лапки и встряхнулся.

На башмаке государя шпиц лизнул медную пряжку, внимательно понюхал белый чулок и поставил лапы на кресло, чтобы лизнуть горячим языком ладонь.

Павел сжал в горсть лапы собаки и снял с кресел.

В бессонные ночи государь играл с белой собакой: он заставлял ее ловить бисквиты и прыгать через шпагу. Со звонким лаем, заложив уши, шпиц носился по спальне и рылся в подушках. Павел бросал в собаку шляпой. Тогда шпиц подползал к нему и опрокидывался на спину.

– Тише, молчи, – государь теребил пушистое ухо собаки. – Во дворце ночью лаять запрещено.

Бессонница тяготила Павла, но каждую ночь ему казалось, что он заснет. Посапывая, он надевал свой полотняный камзол и ночной колпак. Он ложился со вздохом на койку за ширмой.

Черная шпага над изголовьем, шарф и черная трость, прохладная улыбка ангела Гвидо Рени, прохладная улыбка сна. Он крепко сжимал веки, он глубоко вздыхал и ослаблял все тело, только его руки всегда были подобраны к груди. И тотчас странная сила открывала ему глаза.

Спальня, спальня, черная шпага, черная трость, слепой ангел. Громадная, глазастая спальня, плавает в шандале свеча, мерцает на шпалере ее смутное зарево.

– Отворите, прошу, отворите, во дворце пожар, украдены бриллианты...

В криво надетой портупее, в наморщенных чулках, букли спутаны и в кусках серой пудры, Павел стучал за полночь в покои императрицы. Его бесила бессонница, его бесило лицо императрицы, белое и глухонемое, как отражение в зеркале.

– Пошто мне долго не отпирали? Я не могу заснуть.

Он бегал по темной зале, нарочно гремя каблуками. Тяжелые немки и мисс Кеннеди, чтица императрицы, костлявая лошадь, приседали перед ним, шурша пышными фишбейнами, оправляя украдкой крючки, наспех пристегнутые на плоских спинах. Камер-фрау приносили свечи. Начинаясь его полунощный концерт.

В такт, брякая пряжками, он глухо декламировал им Вольтера или Расина, и тряслись букли его тяжелого алонже. Он скашливал и сопел, он поводил глазами, он готов был побить тростью приседающих немецких старух.

Он высвистывал на флейте серенады Вангали и симфонии Плейля, он фальшивил на каждой ноте и задувал внезапно свечи у пюпитра.

– Вы спите, я вижу, вы спите... Прощайте.

Подтянув портупею, он бежал в коридор. Он шел в темноте, задыхаясь от гнева. За ним, не отступая, шел белый шпиц.

Кабы выйти из дворца неприметно, в потайности, сокрыться инкогнито, подобно Гарун-аль-Рашиду, исчезнуть, исчезнуть.

Караул Конной гвардии вспрянул с ларя, за колонной, загремел прикладами, офицер страшно вскричал с дремоты:

– Караул, вон!

Стуча тростью, шагом быстрым и крепким, мимо караула прошел император.

Под кариатидами стоят гренадерские часовые. Точно проверяя равнение эспантона, угол плеча к руке, император подступал близко к солдату: красный обшлаг, медные пуговицы рукава, стиснут в жилистом кулаке эспантон, туго подтянута ремнем к подбородку медная гренадерка, на ней крест мальтийский. Едва белеет в потемках лицо солдата.

Павел любил крепкий и мирный запах их тупоносых дегтярных башмаков и сукна, он любил их обритые монгольские лица, в черной щетине на щеках и у губ, лица солдат российских в венце белых буклей, и всегда желал подойти вовсе близко, тронуть эспантон, погладить по рукавам мундира, о чем-то спросить, что-то узнать.

Лейб-гвардия его, Нефеды и Митрии, Иваны и Аникиты, Илларионы, Михаилы. Был один Африкан, имя странное, лейб-гренадерского полка. В белых парадных гамашах стоял гренадер Африкан под статуей Клеопатры, на груди старика мерцали донаты Святого Иоанна Иерусалимского, солдатский медный крест, а на остром подбородке гренадера была сухая щетинка, точно колючий снежок.

С середины на четверток заступал в Замок, на караул, под знамена, капрал Африкан Зимин. С особой медлительностью, ясно звеня амуницией, салютовал императору.

Павел любовался альпийским орлом, и тоже желал его о чем-то спросить, что-то узнать, но, сняв треуголку, только проводил ладонью по пудреной голове и говорил с виноватой улыбкою:

– Вот, брат, брожу по дворцу, словно бы привидение... Спать не могу. Сна, брат, нет.

Морщился и встряхивал головой: дым пудры слетал на красный отворот Преображенского мундира.

– Голова, брат, болит. Медики талдычат о порошках, а помощи нет.

И звякнули в одну ночь медные донаты Африкана и выпорхнуло легкое слово:

– Яблошный квасок... Твоему величеству в самую пору: голову освежает и сон подает.

– Ах, брат, и точно, квас знатный, да у меня в замке нет.

– Накажи из торговых рядов, чтоб доставили. В торговых рядах быть должен: яблошный пенничек завсегда ко здоровью.

Так и начались полунощные беседы императора с гренадером. Иногда Павел угощал солдата понюшкой из табакерки. Старик, прихватив на руку эспантон, с ногтя вдувал понюшку в ноздрю.

О фурлейтах, о казенных дровах, о том, как лен мочат во Псковщине, о ватшных зимних камзолах, об якобитах французских, о знаменах и о кампаниях были их ночные беседы. Белый шпиц обнюхивал тупоносые башмаки гренадера, упирался лапами в его костлявое колено и облизывал шершавую солдатскую руку.

– Прокукукали вы мне ту кампанию, – с недовольством сказал Павел о Голландской экспедиции и защелкнул табакерку.

Африкан поморщился от понюшки и вежливо счихнул.

– Может статься, кто и кукукал, – ответил старик. – Токмо не мы. Дуже там лютовали, воздух голландский, нам не способный, цынгой зубы крошило, а сражениев нет. Нас там в грязях погребли, в Голландии эфтой. Не кампания, а словом сказать – каземат. Врать не буду...

– Каземат... Разве тебе в казематах бывать доводилось?

– Караулы твоему величеству и в казематах несем.

– Вот ты каков, Африкан. Молодец.

– Рады стараться, Ваше Величество... Мы и батюшку твоею помним.

– Батюшка, – рука Павла дрогнула, он ухватил солдатскую пуговицу.

– А то нет, помним, Ваше Величество. У Петергофе стояли, я еще в барабанщиках ходил, с желтым плечом, вовсе мальчишка, и батюшка твой был вовсе молодой, ноги-то долги, в ботфорту обуты, а сам трубочку курит. С проворством, помню, здоровкался, а трубочка глиняна.

Павел выпустил солдатскую пуговицу и, заложив за спину руку, понурился.

Ему шел осьмой год, когда исчез его батюшка, величество всероссийское подобно Гарун-аль-Рашиду. Открывали монахи батюшкин гроб в Лаврах Александро-Невских, а в гробу – паутина, темная шерсть, и в шерсти – порыжелый ботфорт, лоскутья синего мундира и клочья рыжеватых волос. Исчезло величество всероссийское.

Старый гренадер легко дышал над императором. Павел вскинул на него курносое лицо:

– Гренадер, а когда на меня кто помыслит убийством, ты подашь мне защиту?

– Сохрани тебя Бог... Да за тебя, отец, осударь, мы кого хошь, мы все державы штыками перебрасаем.

– Ну, ну, полно, старик.

II

С февраля караулы в Замке поменяли постами, и капрал Африкан был наряжен к покоям цесаревича Александра. Каждую ночь, с середины на четверток, ждал старик крепких шагов императора, ударов трости о паркет. Но у покоев Александра государь не бывал.

Две бессонных недели ждал гренадер императора, а на третью, к свету, вернулся с дворцового караула и лег на койку во всей амуниции.

Весь трясаясь, поднялся он на койке и в голос вскричал зауспокойный псалом. К самому свету заспанный лекарь в шлафроке, молодой дерптский немец, перешел казарменный двор. Гренадеры теснились к стене и слушали, как колотится старый капрал, выкликая псалтирные слова.

– Тут не церква, казерн, – хмуро сказал немец. – Взять отсюда солдата: он помешанный.

Босые гренадеры мягко ступили к Африкану. Стягивают с него зеленый мундир, и медные донаты, и парадную сумку с пылающими гранатами, закутывают его тощее тело в солдатскую робу. Лекарь тронул старика за плечо:

– Ну, дядя, пойдём.

В холщовых подштатниках, как костлявый мертвец, тогда прыгнул с койки капрал, ударил в грудь сухими горстями:

– Братцы, спасите, родимые... Осударя Павла Петровича, братцы, спасите... У-убивцы...

Выхватил из стойки кремневое ружье.

– Окаянные, сгинь – штыком заколю.

И заругался по-матерному. Босые гренадеры, как кошки, кинулись на него со спины, навалились. Старого капрала связали.

По заре, под ружьями, был отведен капрал Африкан в безумный дольгауз, в солдатский сумасшедший дом. Дырявая роба на костлявых плечах, в одних подштатниках шагал по замерзшим лужам альпийский орел, его сивые букли дымились, он выкидывал глухие слова зауспокойной псалтири.

О помешательстве лейб-гренадера, за маловажностью приключения сего, его Императорскому Величеству, при мемории, доложено не было.

III

Бороздой ногтя в календаре отмечает Павел свои бессонные ночи. Обскакав поутру на тяжелой кобыле Помпоне Летний сад, он уходит в спальню и ложится за ширмой на койку, как был на прогулке, в ботфортах и треуголке. Он лежит, скрестив на груди руки, он дышит коротко и сипло.

Нет сна с той ночи, как великая княгиня родила мертвую девочку. Он ждал тогда внука. Нет сил более ждать. Пален намерен докладывать, что в заговоре злодеев Константин и Александр, белокурый, лукавый, неслышный, с бабкиными злыми губами... Александр похож на мертвую девочку.

Пален докладывал, что в ванной комнате, в сырости, у дырки отхожего места, Александр тайно совещался с Паниным о заточении отца в казематы. Уже послан под рукою нарочный к Аракчееву. Он сам будет допрашивать всех, и сыновей.

Все сословия и чины империи, дворянство, хлебопашцы, сонм священства, купечество, солдаты его и старый гренадер Африкан, весь генералитет, и митрополиты, и архиепископы, Сенат и Синод, всенародно будут судить злодеев, замышлявших цареубийство. Белокурого Александра на площадь, под барабаны, под тысячи палок, всенародно, под палки.

Спальня, темная ночь, миновал пасмурный день. Пален докладывал. Александр, Константин, его сыновья, его кровь. Императрицу – в крепость, под постриг.

В треуголке и с тростью, дрожат две звезды на борту Преображенского мундира, как был на верховой прогулке в Летнем саду, император идет коридором замка.

Гренадер Африкан стоит под Клеопатрой. Ему надобно сказать, открыть все. Гигант в медной шапке откинул эспантон и выкатил глаза, как удушенный. Павел, дрогнув, отступил. Иной часовой стоит под Клеопатрой. Сменили караулы в замке.

Под темным панно с охотой на оленей стоит гренадер Родион Кошевок, малороссиянин с карими глазами. Он всегда в странном изумлении и без страха смотрит на Павла. В ночных разговорах, слегка заикаясь, пожилой малороссиянин толковал императору Библию. Павел, не слушая, с грустной и мягкой усмешкой, смотрел на лысый, с тремя морщинами, лоб солдата-философа. Любят толковать о божественном пожилые солдаты, и в казармах Империи, как в торжественной усыпальнице, теплятся многие свечи, беглый солдат объявился скопческим Саваофом, и есть старого обряда солдаты, и есть корабли белых голубей в христолюбивом воинстве российском.

– Голова, брат, голова, – сипло сказал Павел, подступая к гренадеру.

Потер лоб крагой. Надобно отдать команду, созвать полки, арестовать заговорщиков, командиров, Палена, сыновей. Подумал: «Тише, Павел, тише, сходишь с ума».

– Голова болит, – повторил он резко. – У тебя в Библии против головы не показано?

– В явности, Ваше В-в-величество, не показано... В-в-в каком разуме взять: у Еремии Пророка в стихе шестом.

– Еремии? Не разумею... Я нынче не разумею... Постой, где старик Африкан?

– В-в безумном дольгаузе, Ваше В-величество. В четверток отвели.

В безумном, стало быть, помешался. Все помешались. Он тоже помешанный.

Ударяет трость о паркет. Метет за императором снег, белую собаку. В казармах, окруживая сивые косицы вокруг голов, почесывая груди под холщовыми рубашками, сходятся к свету с дворцовых караулов гренадеры и шепчутся, близко и страшно глядя друг другу в очи: капрал Африкан в уме помутился, государь батюшка по дворцу ходит, тростью стучит, про солдатство, про Россею выпросит, взгрустнет, маленько ручкой буклю оправит, на голову жалится, капрал помешался, ходит, ходит всю ночь бессонный государь Павел Петрович.

IV

В сыром замке по всем коридорам стук прикладов, удары кавалергардских палашей и окрик караулов, как в каземате.

Караул у спальни нынче заняла Конная гвардия. Павел внезапно приказал командиру караула, полковнику Саблукову, сводить конногвардейцев. Ему ведомо, что командир Конной гвардии в заговоре злодеев, – Конной гвардии, Кавалегардов, Семеновского, Измайловского, Преображенского, Кегсгольмского, – ему ведомы имена злодеев, Пален докладывал все. Император застучал тростью, крикнул Саблукову «якобинец». Лицо императора было омрачено, и от гнева дергало губы.

Смуглый Саблуков вспыхнул и стал что-то отвечать по-французски. Солдаты, откинув мушкеты, шало смотрели на императора.

– Я лучше вас знаю, – задыхаясь кричал Павел на полковника. – Сводить караул!

Белый шпиц кинулся к Саблукову, прижался к ботфорте. Саблуков легко отстранил собаку шляпой.

– По отделениям направо, кругом марш, – сипло командовал Павел. – Нынче в ночь, в походном порядке, с амуницией, – марш из столицы. Двум бригад-майорам сопровождать полк до седьмой версты...

Шпиц выл и терся у ног императора, покуда сводили конногвардейский караул. Павел остался один в библиотечной зале.

– Сгинь, – ударил собаку тульей шляпы.

Шпиц с жалобным визгом метнулся под яшмовый стол.

Кругом тяжкие красные двери с бронзами, в головах Медуз, оплетенных змеями, мертвые глаза смотрят с дверей. На малахитовой колонке шумит тресвечник. Сквозняк холодным дуновением ходит по темной зале.

Ему померещилось – клубящий тресвечник, мертвая Медуза, оплетенная змеями. Дряхлая Медуза, тусклые глаза без ресниц, его мать померещилась, – она грех российский, она одна виновница тому, что нынче сыновья замыслили на его убийство.

Самым смешным из царедворцев Екатерины и самым дурным был он, злосчастный Павел, сухопарый уродец, курносый, с большой головой, мрачный шут дворских вечеров, Минотавр в покоях Астреи.

Матушка всегда говорила с ним зло, сладко и пышно, он тотчас раздражал ее самым видом своим, она чуяла его немую страстную ненависть. Ее тяжелое величественное лицо, покрытое пудрой, краснело пятнами, и что-то щелкало у нее во рту, как железка, когда она говорила с ним.

А он, стареющий цесаревич, Фридрихова обезьяна в мундире прусского покроя, призрак голыштинского принца, зарезанного тесаком, он ненавидел ее бескровные порочные руки с лоснящейся тонкой кожей, ненавидел ее желтоватое, точно из маслянистого воска, лицо с ямочкой на подбородке и то, что спереди у нее не было зуба, и шум ее шагов, и жующий влажный звук за кувертом.

Тошнота томила его в кабинете, куда он был зван поутру для милостивых увещеваний: с любезной улыбкой, пышными французскими словами ему выговаривали, что он много тратит на пустые гатчинские затеи, что он разоряет ее казну. А сами были поглощены утренними уборами: пудрились из серебряной лохани, придерживая ее между колен. Он всегда молчал в матушкином кабинете. Быстрее и слаще были французские слова. Ее гродетуровый белый шлафор слегка распахивался на полном колене, она переставала следить за собой.

Холодные глаза без ресниц, глаза Медузы, смотрят на него из зеркала, – шелкнула железка во рту, зазвенело серебро пудреницы, она крикнула по-немецки, ударила ладонью по мрамору, и дрогнули золоченые фавны, что несут полукруглый подзеркальник.

Кабы не матушка, каким светом была бы вся его жизнь и какой красотой и каким величием – его царствование. Мертвая старуха нашептала его сыновьям замысел на убийство отца. Одна она виновница злосчастья российского.

Но в сокровенности, под всей ненавистью и горечью, он таил к матери застенчивую любовь. В детстве мать казалась ему прекрасной богиней, рассеивающей вокруг себя свет. Он помнит, как гордо подымал голову, когда ему говорили, что именно он – сын сияющей снопами света Екатерины. Однажды, в те поры ему было лет девять, подошел он к высокому дворцовому зеркалу и не сомневался, что в зеркале он, сын богини, сам отразится прекрасным, а увидел там тщедушного курносого мальчика с серым лицом, уродца на тощих ногах. И ему стало стыдно, что он так некрасив, и он подумал, что не может быть ее сыном, что не смеет любить ее, даже помыслить не смеет о подобной любви. Однако ночью, когда он узнавал по дыханию, что его гувернер спит, он гладил подушку подле себя и думал о матушке. До отрочества он ждал, что матушка придет к нему, и непременно ночью, когда их никто не слышит, и он расскажет ей о своих мыслях и о своей любви, но мать не приходила никогда.

Он помнит июньскую ночь в Летнем дворце, как были заслежены паркетные доски и как шатало по залам толпу нетрезвых гвардейских офицеров. Тогда он забился на кресла, на ворох сырых плащей, у китайской ширмы. За ширмой был слышен женский смех, сквозь темный шелк лучилась свеча. Там была маленькая, черноволосая и толстоногая Дашкова с испорченными зубами. Там была его мать, прекрасная госпожа мать. Тогда у его матери была мальчишеская поспешность в движениях и она умела свистать.

– Смотрите, конский шерсть пристала к мой мундир, – он слышал ее смешливый говор за ширмой. – Я весь потный за Петергофской поход...

Маленькая Дашкова что-то ответила. Он не любил и боялся Дашковой, она казалась ему шмыгающим мышонком. Его мать выбросила на ширму гвардейский мундир и поспешно стала надевать через голову шуршащую робу.

И в другую ночь он ждал мать у китайской ширмы, на ворохе гвардейских плащей. В черном платье, с алой кавалерией через плечо, невысокая, полная и бесшумная, она прошла мимо кресел. Он прыгнул к ней, стал тереться головой об ее теплые руки.

– Ви нездоров, мой друг, – сказала она холодно. – Где воспитатель ваш, ви не должен быть тут.

– Госпожа-мать, госпожа-мать, – бормотал он, пряча лицо в ее фишбейн. – Госпожа-мать, пошто нет боле батюшки, пошто сказывают, что он скончался?

Она отстранила его, поискала на груди платок и прижала к глазам:

– Мой любезный сын, вам сказали правда. Ваш батюшек скончался от внезапной коллик.

Отняла платок, и он увидел холодные блистающие глаза Медузы, прозрачный лед.

– Нет, нет! – он закричал, затопал каблучками. – Нет! Не смей врать, нет, батюшка жив, врешь!

Мать хватала его за руки, он кусался. Его оттащили от матери, его прижали к чьей-то букле, жесткий волос набился ему в рот...

Павел очнулся, утер обшлагом курносое лицо. Грива огня клубит в зеркале. Белый шпиль подполз и трется у башмака. Павел сипло передохнул, нагнулся к собаке:

– Не скули, ну, тошно и без сего.

И сжал в горсть ее острую морду.

V

Шпица не пускали в столовое залo.

В темноте, под столом, цесаревич Александр дразнил собаку носком узкого башмака. Шарил носок, но словно не решаясь, никогда не добирался до шпица. Шпиц ворчал под столом, а наемни бросился на башмак и разрезал зубами бланжевый чулок Александра. Император побил собаку тростью. Шпиц отчаянно лаял на императора, на императрицу, на флигель-адъютанта Уварова. Собаку выбросили за дверь.

У дверей в столовое залo стоят гренaдеры Аким Говорухин и Михайло Перекрестов. Шпиц терпеливо ждет у дверей. Он сидит на задних лапах, почихивает и зевает. Злобно наморщив нос, он начинает вертеться и ловить хвост. С жадным храпотком въедается во что-то у самого хвоста.

Гренaдеры подмигнут друг другу и брякнут прикладами. Шпиц вспрянет, наострит уши. Гренaдеры как будто не видят. Тогда, заискивая, виляя хвостом, шпиц подберется к ним с опаской. Снова брякнут приклады, шпиц с тьяканьем отбегает к дверям.

Император вышел из столовой залы, гренaдеры откинули эспантоны, шпиц высоко подпрыгнул, норовя лизнуть императора в подбородок.

Павла развеселило за ужином внезапное чихание Александра, которому он насмешливо пожелал доброго здоровья, и оживленная возня пажей над засахаренными фруктами: он сам кидал им пригоршни тяжелых сластей со стола, и мальчишки, озябшие в сырой залe, охотно поднимали веселую драку. Влажно-карие глаза Павла стали добрыми и приятными. Он нагнулся к шпицу и потерел его за острое ухо:

– То-то... Заждался.

Собака кидалась под ноги и уносилась вперед. Павел подставлял ей черную трость. Так, забавляясь с собакой, император дошел до спальни.

Он чувствовал усталое облегчение, прохладу покоя. Утомил ли его резкий разговор с полковником Саблуковым или приступ тяжелого бешенства в темной залe, где шумел тресвечник, но теперь все в нем утихло. Умолк горячий звон в ушах и ослабло напряжение, державшее его без сна последнюю неделю. В нем стала тишина, точно повеяло в нем свежей порошей: он должен нынче уснуть. Сон желанный.

В спальне он прижал лицо к холодному окну. Его лицо горит от усталости. За окном мутно ходит метель, а все март, и вскоре дохнут теплые ветры, апрельские погоды. На стекле нос расплющился, как у негра. Павел ослабился своему отражению и подумал: «Экий курносый арап». Шпиц прыгнул на кресла и тоже смотрит в окно, прижав к стеклу лапы.

Павел вспомнил, как на последнем докладе белый Пален, – он всегда в белом мундире, – сел перед шпицем на корточки:

– Марш ко мне, гоп!

Шпиц забился под кресла и заворчал.

– Не узнает друзей, Ваше Величество. – Марш ко мне, глупая блоха.

– Оставьте ее, сударь, укусит.

– Меня не укусит, она боится меня.

– Полно дурачиться, к делу...

Пален, Пален... Все просит чего-то ждать, не давать заговорщикам подозрений, увертывается, юлит, ходит, как мутная метель за окном. Пошто запаздывает Аракчеев? До барабанов, до заревой пушки Аракчеев обскочет Петербург. Надобно всех схватить ночью, без огласки, в цепи, под рогожу, в казематы, до свету, чтобы поутру никто не знал: исчезли инкогнито, навсегда. Аракчеев составит списки злодеев, включит все имена, и Александра, и Константина. Допросит тако ж белого Палена под палачами. Под палачей, всех!

Они исчезнут, он их забудет. Он все забудет. Скоро летние погоды дохнут, и уже снастят фрегаты в Кронштадте.

Когда святили фрегат «Пантелеймон-Целитель», глухой Гагарин сказывал, будто покойный Суворов, хитрейший генералиссимус, Рейнеке – лис российский, про Екатерину под рукой отзывался – Бес полуденный.

Бес полуденный и точно. От нее открылась злосчастная российская судьба. Павел усмехнулся на свое отражение в черном окне. Ему ли остановить открывшуюся судьбу России? На мгновение он подумал о себе, как о чужом, он подумал о темной голове императора в окне, что вокруг той головы сочеталась тайна всего прошлого и будущего российского, а он не ведает тайны и ничего не властен переменить.

Бормоча под нос «бес полуденный», он идет к ширме. Его тень прошла по шкафу, куда прячут знамена, штандарты гвардейских полков и шпаги арестованных офицеров.

Шпиц слушал его покашливание за ширмой, чутко двигая влажным носом. В глазетовом колпаке и в полотняной белой куртке, точно бы постаревший, в мягких шлепанцах, напевая «бес полуденный», Павел идет из-за ширмы к столу. Шпиц пошел за ним по пятам, обнюхивая туфли.

Император давно не трогал книг. Поднял одну к свече, наугад: «Зерцало Мирозрительное, в Москве, в университетской типографии у Н. Новикова», книга от лопухинских времен.

Московский старичок Новиков при свидании после шлиссельбургского заключения пал перед ним на колени. Он поднял старика и стал целовать в щетинистый подбородок. При свидании они оба плакали о мучительной кончине в Шлиссельбургском каземате государя Иоанна Антоновича. В своих замыслах московские розенкрейцеры воистину почитали Иоанна и его государями российскими, великими мастерами Империи Розы и Креста.

В славу и честь таинственного имени Иоанна покрывает нынче Империю раб Божий Павел, великий магистр державного ордена, рыцарским щитом святого Иоанна Иерусалимского.

Тайна России, Империи Розы и Креста, открылась ему в двух сундуках с мартинистскими бумагами, которые прислали в Петербург к матушке после ареста Новикова, московского старичка в заячьей шубке. Империю Златорозового Креста Павел зрел и сам душевным оком и к ней стал сурово стремить темные стада подвластных народов, да озарятся.

И на кого бы мог опереть такое стремление? На дворских ли сластолюбцев, ведающих одну похоть своего своеволия? Не в них ли открылся воочию зрак гибели, тьмы и падения в бездну храмины российской? Он круто взнуздал их железной уздой, он загнал их в казармы и в жесткие прусские мундиры. Не на полунощных убийствах, не на самозванстве и бунте, не на Ропше, а на законе да утвердится его Империя. Он поставит над Россией и над собой священный закон, таинственный щит Иоанна, посвятит отечество в рыцарство от солдата до императора, да сбудется.

На дворцовом бастионе уже поднят стяг Иерусалимского ордена, и Кваренги уже отстроил орденскую капеллу и медные литеры его новой Империи выбиты над дверями:

D. O. M.

Divo Ioanni Babtistul sacrum

Paulo I

Omnium Russiarum Imperatore ac ordinis

St. Ioannis Hierosolimitani

Magno Magistro.

В Иоаннов день он явно показал всем знаки орденских таинств. В ту июньскую ночь обер-церемониймейстер Мальтийского ордена граф Юлий Головкин и кавалеры Мальтийского Большого Креста в орденских мантиях, с горящими восковыми свечами, и сам он, Гроссмейстер Павел, обошли великой процессией первый храм его священной Империи.

– Дому Твоему подобает Святыня Господня в долготу дней, – сипло и бодро побормотал Павел слова псалма, выбитые на фронтоне его замка. Перекрестился.

Еще не разумеют его замысла, но в долготе дней всем откроется священное таинство, и Домом Закона, Домом Святыни соделается Россия, высоким рыцарским орденом, или ей не быть вовсе.

Злосчастный Павел, отвергнутый сын, он издавна зрел, и без Новикова, в самом солнце славы Екатериной свернутого, тяжкого змия бездны, соблазн похоти и своевольства. Та слава и та Империя зачалась в нечистоте и крови преступления. А щит его новой Империи – непорочный рыцарь Иоанн. Он ведает, что его почитают умалишенным тираном. Ужо, то ли будет тиранство, когда он наступит на главу змия и в доме своем, и в сыновьях своих.

С помощью Божией ему суждено подавить навеки змия бездны в отечестве. Даром ли и самый бунтовщик Пугачев неистовствовал его именем и именем отца, даром ли он принимал в Гатчине французского генерала Демурье, из революции изошедшего, даром ли замышляет нынче союз с самим Буонапарте, чудовищем якобитским? Раб Божий Павел не страшится своих мужиков и своих солдат. Когда надобно, он даст мужикам закон о вольности, когда надобно, он сам наденет якобитский колпак, но не предаст богоданной власти в руки ропшинских убийц, бунта и своевольства. Страшилища якобитские страшат его менее, чем его двор, его командиры, его сыновья, вся темная судьба России.

Судьба России. Не ему ли, верному рыцарю Павлу, заповедано поднять в ее тьме священный щит Розы и Креста, и тогда станет имя императора Павла, помешанного тирана, прекрасным и благословенным в потомстве вовеки. Аминь.

Он тронул Новиковскую книгу. Уже слежались синеватые листы:

«Дни человеческие оставляют после себя только запах мнений людских».

«Жизнь, как корабль, бежит скоро, не оставляя ни следа, ни знака».

«Да никогда вечер смерти и ночь тебя нечаянно постигнут».

– Аминь, – пробормотал Павел и задул свечу.

Шпиц повозился на бархатном тюфячке. Павел прошел в темноту, вытянув руки. Он лег на прохладную койку, он едва белеет в потемках за ширмой. В спальне мерцающий сумрак метели.

Корабль бежит, не оставляя ни следа, ни знака. Все минуется и пройдет, настанет день, и он возвратит заговорщиков из крепостей и равелинов, он вернет им честь и достоинство рыцарей Иоанновых, покроет знаменами Империи. Кабы жив был старый Суворов, славно бы учинили они торжественный церемониал со знаменами. Корабль бежит... Заутра потребовать ведомости из Адмиралтейства, смолят ли фрегаты в Кронштадте, и о снарядах брандсугелей, и о снастях.

Российские фрегаты «Пантелеймон-Целитель», «Гектор», «Зачатие Святой Анны», «Три Святителя», «Благодать». Имя Анны – Благодать по-еврейски. Анино имя, отрадный свет, – Анна, Анна, он не вспоминал о ней в последние дни, а с ним всегда Анна. И ее вензеля на самом большом корабле российском, на гренадерских шапках, на корабельных флагах. Анна и Иоанн, Роза и Крест, Благодатная Империя Божьего рыцаря Павла. Аминь.

VI

Летний сад отворен с Невы.

Ветер вертит ржавую петлю ворот, свистит в чугунных пробоях, толпой теней качает ветви дерев. Ходит косая мгла снега, в сугробах погребены Гераклы и Киприды.

В аллее мигает медь на гренадерских шапках. Ветер когтями рвет мокрые солдатские букли, они свалились как войлок. Скрежешет штык о штык.

Зашумел Летний сад, пролетел долгий гул. Каркает воронье, каркает шумящая ночь. Гренадеры сгрудились, побелели от снега. Кто-то мокрой робой прикрывает лицо, глотает ветер, командует. Ветер плотает команду:

– Сту-у-у-пай... Сукины... Пу-у-у-шек не боитесь, воронья испу-у-у... Марш.

У эксзерцирсауза качается на чугунной лапе фонарь, снег бьет в стекло. Уже идут по крутому мосту гуськом. Побелели спины, вздувает плащи. Приказано огня из огнива не высекать, за громкое слово шпицрутены, – идти в молчании, секретно. Дому Государя беда.

Огромная карета чернеет в воротах, верх завален снегом. В караульне погашен огонь. Донесло и пронесло бой курантов, полуночную четверть. Гренадеры уже строятся во дворе. Не видать, кто строится против них, белеет на треуголках галун, белеют патронные сумки, гренадеры ли там или мушкетеры. Приклады глухо ударили о снег. Ногу не отдавать, в молчании, секретно: дому Государя беда.

Страхивая снег с треуголок, разматывая мокрые шарфы, офицеры пробежали в подъезд. Одни солдаты стоят во дворе, ружья к ноге. Снег косо бьет в лица.

– Ваше Величество, Ваше Величество...

Адъютант Преображенского батальона Аргамаков стучит костяшками пальцев в дверь императорской спальни.

– Ваше Величество, Ваше Величество...

Собака залаяла пустынно и звонко. Платон Зубов попятился от дверей, затолкался локтями... Бенигсен сжал сзади его мягкие плечи.

– Куда? Сам привел. – Ты!

И ударил в дверь сильно, ладонью.

– Отоприте!

Дверь задрожала, лай смолк.

– Отоприте, отоприте, – навалились, бьют кулаками, треснула створка, дверь распахнулась и рухнула все в темноту, руками вперед.

На пороге уперлись, неуклюже расставив ноги в ботфорах.

Ширма у постели подвинута, свеча стоит на полу. Его черная шпага, его трость, его шарф над изголовьем. Изрыта постель. Бенигсен поднял свечу, водит по темным углам, лицо ганноверца освещено снизу: крупный нос, щеки в темных завалах.

Они в парадных мундирах, у всех шпаги сзади, по воинскому обряду. Они столпились на пороге, тяжело дышат. Мерцают их ордена и алмазные звезды. Над толпой колышется пар. Платон Зубов что-то сказал и присвистнул. И потому, что он присвистнул, эта огромная спальня и помятая, еще теплая постель, эта ночь, заговор, отречение, император – все торжественное и небывалое, для чего они взбили парики, надели ордена и парадные мундиры, внезапно стало иным и неотвратимым. Кто-то нагнулся и заглянул под стол. Задвигали креслами.

Бенигсену свечой опалило ресницы. Он идет к камину. Тень его свечи запрыгала на шпалере. Бенигсен тычет шандалом в темный экран, ставит свечу на паркет и неловко, левой рукой тянет из ножен шпагу.

Все замерли. Платон Зубов быстро взбил букли, подвинул на шее золотой знак и поклонился экрану. Николай Зубов одернул ментик и надменно сказал:

– Именем нации... Мы именем нации требуем отречения Вашего Величества.

И, очень высоко подняв ногу, перешагнул свечу. За ним шагнули все. Николай Zubов подвинул экран.

– Выходите, Ваше Величество.

Павел в белой простыне, накинута на тощие плечи, – серые букли обвисли к щекам, пальцы босых ног шевелятся на паркете, – Павел стоит за экраном, у черного жерла камина. Белый шпиг прижался к его босым ногам.

Бенигсен опустил шпагу.

– Конеч, Ваше Величество. Императором провозглашен Александр, по его приказу мы вас арестуем.

Павел сгреб в горсть простыню на груди. Поверх голов, не мигая, смотрят во тьму его круглые глаза.

– Отречение! – зло крикнул Платон Zubов и махнул треуголкой.

Гул и топот многих ног докатился с лестницы, Платон Zubов обернул свое мелкое красивое лицо, обронил шляпу и бросился к дверям, за ним другие, толпой, тискаясь и храпя.

Один Бенигсен остался перед Павлом. Бенигсен, как слепой, моргает опаленными ресницами, он расставил ноги в тяжелых ботфортах, он прижимает к груди императора острие шпаги.

– А-а-а-а, – Павел захлебнулся от глубокого вопля;

Ворвалась толпа, чей топот был слышен с лестницы, дунула туманом, загремела, ширма придавила свечу, толпу закрутило впотмах. Бенигсен, пригибаясь, занырял к дверям.

– А, сукин сын! – жадно и страстно крикнул кто-то. Мотнулись вверх чьи-то острые локти, простыня пронеслась над головами, как серое знамя.

Бенигсен один в темной библиотечной зале рассматривает императорские портреты. Он высоко подымает свечу к желтым пятнам щек и носов. Кислым потом и теплом дохнула тьма из спальни. Выходят один за другим, пошатываясь, неверными движениями, как пьяные, оправляют букли, сбитые на лоб, шарфы, сваленные горбом, застегивают мундиры через пуговицу и суют под камзолы черные гвардейские галстухи.

Тогда Бенигсен вдоль портретов, по стене, стал пробираться со свечой в спальню. Черепки фарфора закрипели под ботфортами генерала.

Павел лежит у камина, подкорчив руки под подбородок. Ужасно вытянулись его голые жилистые ноги в кровоподтеках. Мертвый Павел стал громадным, как Петр Первый. Вздунлась темная голова, кончик языка прикушен и ощерены кривые зубы. У его рта, на паркете, темная лужа крови.

Генерал отступил, и тогда выкралась из камина белая собака. Она омочила лапу в крови и встряхнула. Повизгивая, она стала лизать темную щеку Павла и его темный лоб.

VII

Внизу, на дворцовом подъезде, со звоном распахнулась дверь, мутно дунуло снегом. На пороге граф Пален. Он откинул за плечи черный плащ и обернулся к адъютанту:

– Что, он уже холодный?

– Да, я докладывал вам.

– Тогда я подымусь.

Через две ступеньки граф Пален побежал наверх. В библиотечной зале его нагнал на своей деревяшке Валериан Зубов, полный, с обрюзглым, бабьим лицом.

– Граф, постойте, я с вами... Мы опоздали, стой же.

В спальне, в сыром тумане, все стоят тесно. Измайловского полка капитан Волховский приподнял за волосы с паркета темную голову Павла, в клочьях буклей, в серой пудре, пропитанной кровью. Отбросил: голова глухо стукнула о паркет.

Платон Зубов полулежит в креслах, разматывая шелковый шарф с очень нежной женственной шеи: Зубову душно. Костяным ножичком он счищает с воротника пудру опрятными и легкими движениями.

– Будет вам, – говорит он, капризно морщась. – Закиньте его чем-нибудь... Простыней.

Граф Пален остановился на пороге, задыхаясь от бега.

– Но надобно запереть спальню: дворец полон солдат.

– И я говорю, пора. – Платон Зубов поморщился и протянул Палену тяжелую табакерку:

– Прошу вас.

– Благодарствую, не нюхаю.

Зубов быстро утер с табакерки кровь и защелкнул крышку.

– Я иду к Александру, – сказал Пален. – Приберите, прошу вас. Надобно проветрить.

Все, не двигаясь, смотрят на темную грудку, точно ждут чего-то. Ветер затряс стекло, и пролетело сумрачное звенение: крепостные куранты отбили первую четверть утра. Флота капитан-командор Клокачев закинул простыней тело Павла. Оно забелелось у камина, как сугроб.

В узком простенке у шкафа стоит генерал Бенигсен.

– Тише, тише... Собака.

Медленно оглянулись на Бенигсена.

– Собака?

– Тут. Белая собака.

– Какая собака? Мерещится.

– Его собака. Тише.

У камина под опрокинутым креслом что-то белеется. Платон Зубов осторожным кошачьим движением поставил на паркет свечу, присел, и свесился конец его размотанного шарфа. Упираясь ладонями о паркет, Зубов пошептал, вытягивая губы:

– Дурашная... Собакей... Поди, ну... Собачка, собачка.

Шпиц прыгнул с мертвеца, все поднялись, Платон Зубов прижал к стене кресло.

– Тут она, тут... Забилась... Я ее – тут.

И вдруг отдернул руку, жалобно вскрикнул:

– А-ах, она укусила!

Дверь спальни распахнулась: на пороге граф Пален.

– Ты, куда ты лезешь, черт!

– Радуйтесь, братцы, – крикнул Зубов. – Мучитель ваш помер, ура!

Крик сорвался, никто не ответил. Обмерзлые гренадеры в треуголках, заваленных снегом, надвинулись молча, враз ступили к крыльцу.

Барабанщик гренадерского батальона, костлявый старик с иссохшим лицом, скопец Антон Калевайнен из чухон, злобно крикнул:

– Для нас не мучитель – отец.

Зубов, ослепший от изморози, вбежал в прихожую.

– Солдаты... Идут... Все... Открылось... Там бунт.

По ступеням, ружья наперевес, как ходят в атаку, тяжело и мерно поднимаются гренадеры. Окутаны паром жесткие лица. Барабанщик Антон Калевайнен идет впереди, как ходит в атаку, и черные палки зажаты в костлявый кулак, ударят громом тревогу.

По залам прокатил ветер, тьма, на сквозняке стукнули двери, в спальне над мертвым императором холодным дуновением колыхнуло простыню: гренадеры, ружья наперевес, вступили в замок.

Пален высоко поднял руки, сверкнули алмазы на белом мундире.

– Гренадеры назад. Караул, стой!

Барабанщик попятился.

Черный плащ просвистал, как крыло, Пален стремительно шагнул к гренадерам, еще попятись в мерзлую тьму, откуда пришли, – нестройно и шумно.

– Его Императорское Величество государь Павел Петрович волею Божьей скончался. Императору Александру – ура!

Пален сильно хлестнул барабанщика по плечу лосиной перчаткой.

– Пошто молчишь, по-русски не разумеешь? Императору Александру – ура!

Пятясь, набирая воздуха в груди, шало глядя на Палена, гренадеры закричали «ура», раздулись шеи от крика, потемнели лица. Офицеры подняли зазвеневшие шпаги. Сиплое «ура» загремело во дворе. «Ура» в покоях императора Александра. Там офицеры стоят толпой, в холодном тумане, там паркеты в темных лужах оттаявшего снега. На яшмовом столе, свесив ноги, сидит Уваров, он чему-то смеется. На Александра не смотрят, о нем забыли.

Александр уткнулся лицом в кожаную подушку. От рыданий дергает его длинные ноги в белых чулках. Так, одетым, он лежал на канапе и в первом часу ночи, когда над ним склонился Николай Зубов.

– Вставайте. Скорее. Идите к солдатам... Его боле нет... Вы – государь, вставайте, Ваше Величество.

От Зубова пахло потом и вином. Александр вцепился тонкими пальцами в кожаное сиденье.

– О чем вы говорите... Я не хочу... Какой государь? Я приказал для отца во дворе карету. Его отвезли в крепость?

– Нет, все свершилось без кареты. Его более нет.

Тогда Александр, как подкошенный, припал головой к кожаной подушке. Теперь он не рыдает, он тихо стонет от слез. Его влажные белокурые волосы прилипли к щекам.

Пален подошел к нему из табачного дыма. Он похлопал Александра перчаткой по плечу.

– Будет ребячиться, ступайте царствовать: вас ждет гвардия, вы слышите «ура»? Помогите его поднять, господа...

Александра повели под руки. Уваров оправил ему измятый белый камзол, намокший от слез, и вытер на нем платком алмазные пуговицы. Он потянул из тонких пальцев Александра сырой комок платка.

– Ваш вовсе мокрый, Ваше Величество, – возьмите мой...

От слез все шаталось и плыло в глазах молодого императора.

IX

(Нумерация глав перепутана, пропущена глава VIII)

Поручик гренадерского полка Кошелев был вызван с полуротой к замку уже к самому свету, когда поднялся сырой ветер оттепели. Войска подходили вереницами теней. Гремящие взрывы «ура» почему-то застрашили Кошелева. У решетки Летнего сада он увидел невысокого гусарского офицера, похожего со спины на мальчика. Кошелеву показалось, что гусара тошнит и потому он держится двумя руками за решетку.

– Вам неможется, сударь, – заботливо сказал Кошелев, ступая к гусару через сугроб. Тот обернул худое лицо. Было что-то трогательное в том, как замечает на впалую щеку гусара пряди заиневших волос. Его зубы стучали.

– Нет, нет... Я здоров... Я видел его. Он лежит. Я сам видел... Его убили. Зачем его убили, Боже мой?

По телу Кошелева пролетел внезапный холод. Он понял, почему войска вызваны к замку и почему там гремит «ура».

– Я сам видел, лежит, – глядя на Кошелева и не понимая, что говорит, гусар повторял. – Боже мой, как ужасно... Зачем же, зачем...

– Пойдемте, – сказал Кошелев и взял его под руку.

В открытом Летнему саду уже ходили сизые табуны тумана и сырой ветер шумел в вершинах деревьев. Мальчик не отпускал руки Кошелева. По дороге он назвал свое имя – Полторацкий. Он остался с солдатами во дворе.

В темных залах, куда вошел Кошелев, столы были сдвинуты, экраны и кресла нагромождены, как будто во дворце недавно потушили пожар и занял залы воинский постой. В покоях было мутно от холодного пара. Толпой ходили офицеры, рассматривая мебель и шпалеры. Они говорили громко и нарочно громко смеялись. Они так ходили по залам, точно не знали, что еще делать здесь.

Кошелева теперь так же трясло и тошнило, как маленького Полторацкого у решетки Летнего сада. Он почти бежал по туманным залам. У дворцовых дверей выставляли караулы.

Скрестив штыки, караул стал у спальни императора. Босая, простоволосая женщина в ночном капоте мелкими шажками бежит вдоль штыков, хватается за острия, она не кричит, не плачет, она храпит:

– Пустите, пустите....

Солдаты смотрят дико, капитан салютует шпагой, но в спальню никого не приказано пускать, даже ее Императорское Величество.

Графиня Ливен, в тяжелом чепце, никак не может натянуть на императрицу белый салопец. Государыня отступила от штыков, подобрала с затылка седые косицы. Ливен накинула салоп. Императрица выпрямилась, ступила к солдатам:

– А, меня не пускать... А-а, тогда я скажу вся правда, не слушай их, солдатен, они изменник, злодей, они убили мой бедный муж, ваш добрый император... А-а, взять их, солдатен. А, я ваша императрис, защищайте меня, – а-а-а.

Императрица вдруг села на паркет с тонким, воющим звуком «а-а-а». Графиня Ливен сказала через голову: «Воды». Капитан опустил шпагу.

Воду подносил императрице гренадер Михайло Перекрестов, молодой, черноглазый солдат. Близко нагнулся молодой солдат и сказал испуганно и кротко:

– Выкушай, матушка, не отравлена, скусная...

Кошелев вышел во двор, где его ждал Полторацкий.

– Пойдем, – сказал он гусару и взял его под руку. – Тут обойдутся без нас. Я буду сводить полуроту.

Они шли рядом по крепкому снегу Царицына луга к казармам. Кошелев провел Полторацкого в полковую кордегардию, чтобы согреть сбитнем и уложить на казенном ларе: мальчика трясла лихорадка.

Полторацкий послушно лег на ларь и накрылся плащом. Светлые пряди волос раскидались по нечистой подушке. Кошелев расстегнул свой отсыревший мундир и задул свечу на табурете.

За дощатой перегородкой кордегардии гудели голоса и бухали приклады: солдаты уже вернулись из замка.

– Слышите, – прошептал Полторацкий.

– Слышу, тише...

Кошелев, сидя на табурете, прислонился к перегородке. За нею глухо роились голоса.

– А она, братцы, вовсе босая, в рубахе, я, стало быть, воду ей подаю, а она...

– Помер, знаем, как помер. Задушили.

– Нет, Господи, сила Твоя.

– Задушили баре, оны окаянные, оны задушили.

– Родивон Степаныч, да что теперь будет с нашими головами?

– Что будет, когда правду убили. Была одна правда, сверху свет, а и то придушили. Тьма заступит в Рассею.

– Твари, барство, штыка им в брюхе перевернуть.

– Молчи!

– Ампиатора забили, братцы, ампиатора. Решились наши головы.

– Молчи тебе говорят, палочьем забьют. Нам таперь молчать до остатнего, а правду сыну откроем, как барство-сударство его батюшку жаловало, я ему собаку представлю, молчи...

Голоса отдалились. Кошелев медленно повернул к Полторацкому голову. Теперь они оба дрожали.

Х

Было уже светло, когда граф Пален провел в императорскую спальню хирурга лейб-гвардии Семеновского полка Виллие.

В спальне медик медленно расстегнул неряшливый зеленый мундир, закиданный табаком, и поверх очков в оловянной оправе, надел еще одни, где стекла темными лунками. Он бросил мундир на ширму, на кровяные простыни, и стал засучивать рукава.

Сочится левый висок мертвеца, по которому князь Зубов ударил табакеркой, жалованной Екатериной Второй.

Сумрачно посапывая, Виллие стал мазать лицо мертвеца желтой мастикой. Рану на виске он покрыл лаком телесного цвета. Многими кисточками он румянил и охорашивал разбухшее лицо, как будто покоилась перед ним голова спящего трагического актера, которому выйти завтра к толпе, на великолепное зрелище.

Утром в дворцовых залах еще ходили, стояли и сидели многие особы гвардии и двора. Князь Зубов грелся у камина. Яшвиль стоял перед ним и чему-то сухо смеялся.

На пороге залы показался цесаревич Константин. Тусклые рыжеватые волосы цесаревича были взбиты на висках, он тоже не спал ночь, его лицо припухло и посерело. Он пошевелил густыми бровями и поднял к глазам золотой лорнет.

– Я всех их повесил бы, – сказал он довольно громко и скрылся, ударив дверь с такой силой, что зазвенели Медузы. Многие оглянулись, а Платон Зубов поднял от огня зарумяненное жаром лицо в тончайших морщинах.

В императорской спальне пуки свечей весь день горели желтоватой мглой, а ввечеру была объявлена первая панихида.

Император лежал в высоком гробу, на черном бархатном катафалке, в голштинском синем мундире, ногами к окну. Его руки в желтоватых крагах были скрещены на груди, к ним прислонен образок. Челюсть Павла была повязана белым фуляром. За ночь у мертвеца отросла щетина. Черная треуголка с серебряным галуном, слегка надвинутая с изголовья на левый висок, затемняла его лицо.

Взрывы зауспокойного пения колебали огни свечой, и по щетинистому подбородку Павла ходили тени. На всех лбах – маслянистые отблески огня. В зале – тяжелая духота, шелест и шуршание большой толпы.

На первой панихиде присутствуют особы двора Его Величества и высшие чины императорской гвардии: Санкт-Петербургской военной губернатор, Его Сиятельство граф фон дер Пален, шеф первого кадетского корпуса, Его Светлость князь Зубов и братья его, шефы второго кадетского корпуса и Сумского гусарского полка, а равно замка плац-адъютант Аргамков, генерал-майор Бенигсен, командиры и шефы лейб-гвардии Преображенского, Измайловского, Кегсгольмского полков, Конной гвардии, сенатских батальонов, а также полковники, капитаны и поручики сих и прочих полков Санкт-Петербургского гарнизона, Бибики, Волховский, Скарятин, князь Яшвиль, Татаринов, флота-капитан Клокачев и многие иные особы, – с бледными, рассеянными лицами, у всех растрепаны букли, небрежно повязаны шарфы, и пудра не счищена с воротников.

Генерал Бенигсен внезапно пошатнулся. Князь Зубов, грациозно и мелко крестивший грудь, поддержал генерала.

– Что с тобой? – прошептал Зубов. – Тебе дурно?

– Там собака... Села на гроб... У темного образка.

– Нет собаки, мерещится.

– Тебе мерещится, Бенигсен, – шепчет граф Пален. – На гробу нет собаки.

– Я понимаю, – Бенигсен моргает обгорелыми ресницами. – Мне мерещится, мне дурно, я понимаю.

XI

Герольд в золоченых наручниках, тяжелый золотой рыцарь в пернатом шлеме высится на коне у Исаакиевского моста.

Герольды из конногвардейских солдат – от крика напряглись темные жилы – с утра извещают столицу о благополучном восшествии на российский престол Его Величества императора Александра.

Желтоватое солнце реет над Санкт-Петербургом. У подворотен курятся рыжие сугробы. На Невском проспекте в коричневое крошево разъезжена мостовая. Светлы стекла фонарей. Свежий ветер качает красную, как сурик, перчатку над лавкой гамбургского купца.

На Невском проспекте глухой стук колес. Каретные стекла проносят солнце. Прокатывают новые выезды по набережной, с фореиторами на передних лошадях. Волоча шубы по мокрым плитам, знакомые снимают друг перед другом мохнатые сырые треуголки: смешно и немного стыдно показывать всем стриженные по-новому головы, без пудры. Уже обрезаны старомодные букли дней тирана.

Золотой всадник у Исаакиевского моста закачался под тяжестью золотых доспехов и пал в дурноте с коня. Мастеровые в пестрядевых халатах, охтенские торговки, сбитенщик отшатнулись, снова натиснулись. Гостинодворский меняла с изморщенным, точно бы выщипанным лицом, попятился из толпы.

– Доора-лся. Не к добру с коня грянул...

В императорском замке открыты все окна: в покоях проветривают мглу панихид и чад свечей.

В казармах гвардии, в гренадерской роте, – солдатство и нынче, как во времена Матушки, зовет роты капральствами, – тоже открыты все окна. В капральстве дощатые койки тянутся вдоль стен, а над койками – самодельные полки. На полках окованные солдатские сундуки с парадными мундирами, мелкой амуницией, чистыми сменами рубаш, пуговицами, табачком, воцаренным катышком, куда натыканы иголки, обмылком в бумаге да вишневым фуляром, слежавшимся по всем складкам, который берут в руки раз в год, на красную Пасху, под качели.

Всюду темные образки над гренадерскими ларцами, к ним прилеплены грошковые свечи. От копоти покороблены невидные лики святых.

Вдоль полукруглых окон – деревянные чушки, болванки для треуголок, точно стали фрунтом под окнами желтые карлы, покрытые шляпами, а у стены напротив – ружейная стойка. Над штыками, на колышках, вбитых в стену, – связки солдатских белых портупей и патронные сумки.

Чан у печи с чистой водой, помятый железный ковш на чане, и ночь и день топится широкая русская печь, веником начисто выметен пол и побрызган водицей: теплая хоромина лавров и побед, обитель войск российских. Ночью у печи на скамье сидят капралы. У одного еще не отстегнут суконный красный галстух с рубахи, у другого ходит огонь по темно-медной груди, и рдеет там складень. Капралы молча выпаливают в устье печи табачный дым: сильная тяга.

В одних подштанниках, босой, спиной к печи стоит лысый капрал Родион Кошевок, друг Африкана умалишенного: кость греет.

На скамье пред огнем сидит молодой гренадер Михайло Перекрестов, черноглазый, бледный с лица, и Аким Говорухин, смолоду пусть и картежник, особенно в хлюсты, а нынче слушатель Родионов, и капрал Илларион Кремень, один глаз карий, другой голубой, – смолоду был Ларька и зубоскальщик, и бабник, а Кремнем от самого батюшки Суворова наречен, и такие нынче песни Ларя про солдатство играет, по всем россейским полкам нет краше певца, – все ветераны альпийские, Суворова молчалиники.

Поджав ноги, как турка, садит на койке в потемках барабанщик Антон Калевайнен и мерно жует ржаную краюху, посыпанную солью.

– Давеча один приходил, – шепчет Михайло Перекрестов, поводя на огонь темными глазами. – У-у, как его, никак адъютант... Граф эфтог... А слышу, она ворошится: шох-ворох. У меня ажно сердце упало: прослышит. Нет, не слышал.

– За другим гранадером присмотреть надобно, – задумчиво говорит певец Ларя, тоже глядя в огонь. – Который гранадер от пенника загуляет, о ту пору и хвастовать...

– Который гранадер хва-хвастает? – слегка заикаясь, сказал Родион.

– А вот и который: Клим хвастает, пелатон, с правого флангу.

Калевайнен прожевал корку, ссыпал с горсти в беззубый рот ржаные крошки, и проворчал:

– Когда хвастает, бить будем до смерти. Климу так и скажи.

– Да я сказывал.

– А ну тише, – она.

Родион поднял палец, все повернули головы к огню и прислушались. Михайло Перекрестов застенчиво и красиво улыбнулся:

– Она, родимцы, шур-шур... Она самая и есть потайная наша.

А было в капральстве потайное дело, марта двенадцатого дня, во вторник, о Великий пост, на шестой неделе. Тогда капрал Родион Кошевок, прийдя по самому свету с дворцового караула, отстегнул полу мундира и выпростал на койку белую собаку, белую собаку самого государя Павла Петровича. Свалялась от крови шерсть в темные ключья.

Пометалась на койке белая собака и прыгнула к печи, на загнетку, зашатав шесты с солдатским тряпьем.

Много ночей шелестел капрал Родион страницами Библии и, нечто царапая пером, вырвал из святой книги чистый листок. А в самом конце марта, завернув в красный фуляр писанье свое, трое яиц вкрутую, щепоть соли, два медных пятака и тертый калач, ходил Родион в безумный дольгауз к умалишенному Африкану.

В желтом доме к Африкану его не допустили, сказывали, что буен, но узелок приняли. Писарь, почесав за ухом гусиным пером; принял и писание капрала. А писаны были на святом листке литеры гражданские и церковные, нацарапана которая вверх, которая вниз, неписьменной солдатской рукой:

Дому Твоему подобает. Святыня Господня в долготу дней. Литер сотши сорокпятьасие годы его жития. Стало отошла Святыня Господня отрасеииныне его с нами нета она с нами схоронена на досроку. Аминь.

– Экая эрмолафия, – сказал писарь. – Обратно прими, невразумительно написано. Ему не до каракуль твоих: он нынче в Моисеи себя произвел и скрижали новые пишет.

– Ск-скрижали, – сказал капрал, заикаясь, и поклонился писарю. – Уж подай ты, сударь, и записку ему, ради Бога.

– Чудак ты, солдат. Мне все одно: передам. Пятаки тут оставь. Моисею медных пятаков не надобно.

– Изволь, сударь, пятаки себе заberi...

А за русской печью в капральстве натаскано нынче в самую тень сенцо и сметена там паутина: каждое утро ставят туда капралы хлеб, щи в манерке и в оловянной кружке чистую воду.

До загнетки стала показываться белая собака, подпуская к себе капралов. Она скулила и тыкалась горячим носом в солдатские ладони.

XII

В мае, о первых днях, когда были открыты все окна казарм и в коридорах веял прохладный ветер, капрал Аким Говорухин разбудил на рассвете капрала Родиона:

– Родивон Степаныч – беда, пробудитесь, сударь, Родивон Степаныч, сущая беда.

Капрал Кошевок скинул ноги с койки и дрогнул от холода:

– Какая беда?

– Потайная наша... Сударь, батюшка, – пропала потайная.

Босые гренaдеры в холщовых рубахах столпились у печи.

Всплескивает руками Аким Говорухин:

– Как я дневальный, братцы мои, ставил ей чистую воду, свежее сенцо, братцы вы мои, судари, милые други, ставлю ей водицу, шарю сенцом по запечью, до стенки с сенцом дотолкнулся, шарю, а ее нет, други милые, нет.

Корку сухого хлеба, огрызок ее, вынесли гренaдеры на свет, глиняную миску со щами, уже подернутыми сальной радугой, и оловянную кружку, полную до краев чистой водой.

Осмотрели все гренaдеры и молча стоят у печи, опустив жесткие, стриженные по-новому головы. Родион Кошевок сказал заикаясь:

– Ст-стало быть и мы не достойны. Такого быть не должно. Ис-скать буду. Уйду в бега потайную ис-скать...

В этот ранний час полковым двором, по мосткам, проходил поручик Кошелев. Он дурно спал на дежурстве или, может быть, не спал вовсе, но его лицо казалось очень усталым и он заметно дрожал от утренней свежести под епанчой. Тяжелую усталость и еще тошное чувство разочарования, темную досаду, поручик Кошелев чувствовал с памятной ночи одиннадцатого марта.

Когда он думал о той ночи, ему часто мерещилось лицо мертвеца со вздернутыми ноздрями, полными крови, и с темными бляхами вместо глаз, как у слепца Эдипа. Все, что думал раньше Кошелев о российской вольности и об учинении в России древней республики, все неуклюжие и странные речи за офицерскими ужинами при свечах и тосты новым Брутам, спасителям отечества, теперь вызывали в нем только тошное чувство.

Он думал, что своевольны и лукавы были люди мартовской ночи, чая убийством одного человека свершить перемены в отечестве, да и было ли у них подобное чаяние? Все то же осталось кругом, неперменное, разве вот остригли косы солдатам и выдали по полкам белые, на штрипках, штаны.

Ни в людях, ни в том, что делалось кругом, он не видел перемены, и он стал думать, что императора убили только для того, чтобы удобнее было проводить ночи за карточными играми, небрежь службой, дебоширить у девок и носить легкие сукна и штатские фраки. Именно об этом говорили больше всего, так понимали кругом вольность.

Кошелев стал болеть своим чувством омерзения и тошноты. Ему казалось, что совершилось что-то низкое и ненужное, в чем виновен и он, но то, что свершилось, было неотвратимым и теперь будет свершаться то, чего уже не остановить ни ему и никому другому.

Кошелев оставил многие привычки и знакомства и перестал бывать в масонской ложе, где его тяготила и тщета пышных слов, и запах пыли от черных завес в невыветренной зале. Ему было стыдно, что братья-каменщики зевали в ладонь за скучными ритуалами, а за братской трапезой оживлялись, с охотой говорили о новых наградах, о приказах по полку и о том, кто получит кавалерию.

Так могло быть до марта, но так не могло быть теперь, или зачем убивали его?

Кошелев не знал, что должно стать иным, но вся жизнь и все люди, вся Россия должна была стать иной после марта, или никогда и ничем не будут оправданы мучительства несчастного императора Павла. Кошелев плакал о нем по ночам и молился.

В эти дни он особенно часто вспоминал малолетнего брата Павлушу, оставленного в Москве на руки губернаторов и нянек, и писал длинные письма его воспитателю Жирану.

В кордегардии, на деревянном ларе, прикрепив у изголовья свечу, Кошелев читал на ночных дежурствах Библию, которую узнавал впервые. В своих ночных чтениях он начал понимать нечто новое, щемящее и смиренное, чего не мог бы пересказать никому, он стал понимать, что все человеческие слова об украшении и перемене человеческой жизни не сбываются никогда, что жизнь не во власти людей, что жизнь не поддается хотению человеческих слов и дел, а сбывается в мире и в каждом человеке и во всем, что свершается на земле, одна таинственная сила Божья. Тогда он думал с волнением о странных словах апостола Павла, что Бог не в слове, а в силе.

Только Полторацкий, маленький гусар со светлыми прядями волос, падающими на худые щеки, навещал его иногда и Кошелев стал уже привыкать к своему молчаливому слушателю с блестящими глазами, но Полторацкий скоро уехал к отцу, под Калугу. Кошелев остался один.

Черноволосый, с бархатными искрами в зеленоватых внимательных глазах, холодно-замкнутый и холодно вежливый со всеми, Кошелев скоро стал почитаться в полку гордецом и нелюдимом.

После марта молодой офицер, которому едва минуло двадцать, замкнулся в книги и полковые занятия и вовсе отошел от товарищей. Он жил один со своими новыми мыслями и тягостными чувствами тревоги и ожидания.

Куранты отбили пятую четверть утра, когда поручик Кошелев, кутаясь в синюю епанчу, перешел казарменный двор.

Пожар

I

В сумерках утра 2 сентября 812 года полицейские проводили тяжелую коляску Кутузова от Дорогомиловской заставы к Яузскому мосту.

Полицейские бежали, пригибая головы, как гончие. Могло казаться, что бегут пустой улицей пешие пожарные с громоздкой колымагой. Дебелое тело Кутузова потряхивалось. Светлейший кутался в синий плащ.

Когда в Филях, в тесной избе, пропахшей сукном мундиров, грязью генеральских сапог и мужицкой вонью, зло спорили генералы, фельдмаршал сидел молча в потемках. Был только слышен звук его старческого дыхания. Он закончил военный совет, постучал по столу пухлой ладошей.

– Не потерять бы армии, – пришепetyвая, сказал Светлейший, и задрожал его двойной подбородок, заплывший на ворот мундира.

– А с потерей Москвы еще не потеряна Рассея. Фельдмаршал с придыханием, и тоже пришепetyвая, выговаривал по-простонародному это слово – Рас-сеея.

Тяжелое движение тела поколыхало скамью, он встал: старые ноги затекли от долгого сидения.

– Самое уступление Москвы приуготовит неприятелю неизбежную гибель. Приказываю отступить...

Гончие-полицейские осторожно покрикивают: «Гей-гей». Светлейший будто дремлет в коляске. Его морщинистые веки зажаты, он не хочет видеть Москвы: он всю ночь обильно и тихо проплакал на койке, поджав ладонь под мокрую щеку.

Коляска, подняв низкую пыль, промчалась бульварами.

Рокочет Москва, словно прорвались близко воды: генерал Милорадович уже двинул войска на Коломенскую дорогу, с войсками – клади, пушки, телеги, кареты, народ.

Казачи тянутся гуськом по мостовой. У чугунных ворот барского дома малорослый донец с живыми глазами, в синих шароварах, в высокой, как черный улей, шапке, кормит с рук хлебом коня.

Таганку, Николяямскую, запрудило темное колыхание киверов, линейек, штыков. Громадой, лязгая, скашливая, гремя, движутся войска. Офицерские лошади, прижатые к заборам, корячатся, наморщив зады.

На Таганке с ночи стал высокий поп в трепаной рясе. Носит ветер его сивую гриву. В руке поп держит пудовую свечу да крест, в другой – кропило. Из помятой серебряной купели с самой ночи кропит поп идущие российские полки, и его пение, как силпый горестный лай:

– Спаси, Господи, лю-у-у-ди Твоя...

Офицер, дворянский мальчик с бледным смешливым лицом, прыгнул с коня. Кивер пал под тысячи ног, мигот растоптан. Разметало ветром рыжий кок офицера, он целует суровую руку попа, залитую воском.

Солдаты подбегают к попу, подхватив полы шинелей, стучают кожаными киверами о крест.

Шумит пламя пудовой свечи, кропило звенит о купель.

На Яузском мосту коляску Светлейшего сдавило движение войск. Затрещали колясные крылья. Поплыла над темным мельканием киверов белая фуражка фельдмаршала.

Мост запрудило, в толпе пробираются конные полицейские, размахивают палашами. Коляску Кутузова нагоняет верхом Ростопчин.

Он подскакал, скинул мохнатую треуголку. Он в мундирном сюртуке, в дрожащих, как желе, эполетах, с нагайкой, закрученной вокруг красного обшлага. Блестит от пота лицо, грязь струйками стекает по скулам.

– Михаиле Илларионович, сказывали, до последней капли... Собственноручное ваше письмо...

Кутузов махнул полной рукой:

– Ступайте к должности вашей. Вы расстраиваете движение на мосту.

– Я... Государю... Подобное... Государю... Неслыханно... Священная Москва, прах предков.

– Приказываю, вам, сударь, скорее очистить мост.

Кутузов сказал: «Скоре-я».

Морда коня с белой проточиной отдернулась от коляски. Скуластое лицо Ростопчина заныряло в киверах и штыках.

Он осадил коня у артиллерийских фур и стал кричать на обозных солдат, размахивая нагайкой. Фурлейторы, трясаясь и горбясь на своих повозках, не оглядывались. Ростопчин распоряжался движением, но его не слушал никто.

Зрелище топчущего, тесного потока скоро увлекло Ростопчина и по тому, как он смотрел, и по тому, как моталась на его красном обшлаге нагайка, было видно, что он задумался. Верхняя губа приподнялась, показав редко поставленные широкие зубы. Он вспомнил свои сокровенные намерения, от которых захватывало дух холодной щекоткой восторга, он вспомнил свои письма к Балашову и Багратиону, их ответы, которые он по многу раз подчеркивал пером, проверяя себя и находя подтверждение сокровенному замыслу, куда большему, чем вся их позорная и неуклюжая военная возня, все их ретирады, планы и диспозиции, такому замыслу, который мог явиться только ему, Ростопчину.

Князь Багратион, еще 14 августа отвечал на его письмо с простецкой прямоотой:

«Истинно так и надо: лучше предать огню, нежели неприятелю. Ради Бога, надо разозлить чернь...»

«Предать огню», – Ростопчин подчеркнул эти слова. Тогда же, 13 августа, он подал в письме намек Балашову, прикрывая намерения свои мнениями народа, которых слышать ему не доводилось: «Мнение народа есть следовать правилу «не доставайся злодею». И если Провидению угодно будет, к вечному посрамлению России, чтобы злодей ее вступил в Москву, то я почти уверен, что народ зажжет город».

Это было писано им тогда, тогда поймали с французскими плакардами чахоточного купчика Верещагина, вряд ли не масона, когда хитрый почт-директор Ключарев, отъявленный мартинист из мужиков, едва успел замести следы изменнической переписки с патриархом скрытого русского бунта Новиковым, который притаился до времени в подмосковной, когда вся ученая университетская сволочь, господа московский сенат, мартинисты, масоны, бунтовщики потирали руки, ожидая вшествия Бонапарте в Москву, а тот самый народ, мнение которого он изъяснил министру, не только не желал жечь свой скarb и дома, а ловил на улицах мнимых поджигателей, будто бы подосланных французами.

В последнем письме Балашову 27 августа он едва не открыл своих намерений: «Если, по несчастью, столицы спасти нельзя будет, то я оставшееся предаю огню».

– Однако, я добавил «комиссариатское и в арсенале», – пробормотал Ростопчин. – Не то помешали бы, сукины дети... Ужо, я предаю.

Он с раздраженным удовольствием бормотал вслух это слово «предаю». И если бы спросили его, на кого он так раздражен, он сказал бы – «на злодеев французов», хотя злодеями в душе их не почитал, а если бы он сам спросил себя, то ответил, что на рыхлую грудку жира, на чудо-фельдмаршала, который говорит «сюды-туды» и «скореея», носит по утрам дамские чепчики с шелковыми лентами и которого возят в коляске по войскам, как одноглазую куклу,

и на этого Балашова, похожего на бабу в прюнелевых башмаках, и на льстивого, неуловимого и холодного Александра, на всю кучу дураков-командующих, которые ничего не понимают и всего боятся, на всю придворную, армейскую и университетскую тварь, на вонючую барскую чернь, на всю эту бестолочь, кривотолки, возню, развал, на все, что он, Ростопчин, презирает.

– Я им, сукиным детям, предам, – бормотал он. – Я их научу....

И точно одергивая себя и желчную злобу, какую в самой глубине чувствовал всегда ко всем и ко всему, что его окружало, Ростопчин подумал, как бы подбирая последнюю, круглую фразу в письме кому-то, кто будет судить его, Ростопчина, и всех этих сукиных детей, как бы они не назывались и кто бы не были:

– Я их научу, как надобно действовать истинным сынам отечества...

Он дал шпоры. Его скуластое лицо с прискаленными зубами заныряло между морд драгунских коней.

II

Коляска Светлейшего пылит у старообрядческого кладбища.

По высохшим канавам, положив ружья между ног, сидят на привале пыльные пехотинцы. Светлейший посмотрел на медные номера киверов «217» и слегка толкнул кучера в запыленный синий зад:

– Погоди тут маленько.

Коляска, накреньясь, заскрипела. Пыльные пехотинцы, кто мотал зажухлую портянку вокруг ноги, кто без кивера лежал в серой траве, раскидав руки и ноги, и смотрел в едва голубевшее во мгле небо, нехотя поднялись, увидев старого тучного генерала.

Босой солдат прыснул от скамьи, прихватив в охапку сапоги и ружье.

Светлейший обмахнул скамью плащом и грузно сел. Отстегнулась пуговка на белом жилете, и выплыл на колени живот. Светлейший дышит сипло и тяжело.

Здесь слышен отдаленнее рокот отходящей Москвы.

У ограды кладбища, на скамье, Кутузов стал ждать генерала Милорадовича, которому наказывал быть на французских аванпостах с письмом.

Москва в сквозящих дымах, в сыром дыхании садов, уже разгоралась навстречу солнцу широкими огнями оконниц, реянием крылатых куполов на заре, величественным видением, золотыми горами разгоралась Москва.

Столбы света секли пустые улицы, и лепетал кудрявый калинник над заборами. У Василия Блаженного ворковали голуби, ожидая зерен. Голуби низко метались над мостовой. От кремлевской стены тянулись на песок синие тени, свежая прохлада утра.

Дворовый человек в нанковом казакине, по виду барский слуга, с двумя пистолями под мышкой идет, шатаясь, к Кремлю. Пред дворовым тоже тянется тень. Дворовый пьян. Намедни граф Ростопчин приказал разбирать амуницию в арсенале и всем идти в Кремль, защищать Престольную от француза.

Дворня и отсталые солдаты от Яузского моста до Коломенской заставы громят кабаки. В ясном воздухе разносится звон стекол и треск ставен, сбитых с петель.

Отсталый артиллерийский солдат, злой от вина, в прорванном кивере, срывает с забора шершавую ростопчинскую афишу, у которой еще вчера толкалась толпа:

Выйдет сто тысяч молодцов, возьмем Тверскую Божью Матерь да сто
пятьдесят пушек, кончим дело все вместе, у неприятеля же своих и сволочи
сто пятьдесят тысяч человек, кормят пареной рожью и лошадиным мясом...

Генерал Милорадович с конвоем лейб-гусар и казаков уже проскакал к Дорогомиловской заставе.

Рыжеватый и голубоглазый, в красном ментике с золотым шитьем, Милорадович рассеянно и весело смотрел, как кипит у разбитых кабаков чернь, как перебегают улицу солдаты, подхватив по-бабьи полы шинелей: обычное бесчинство отсталых, безначалие города, отдаваемого неприятелю.

– Ваше Превосходительство, никак он? – заскакал сбоку молодой донец.

– Ах, дурень! – Милорадович отнял от румяных губ трубку. Засмеялся, показав белые зубы:

– Наши цепи еще у Поклонной, дурень...

Протяжный такт марша колыхнул воздух. На пустой площади у красной стены Кремля строится полк. Милорадович дал шенкеля к фронту.

– Кой черт приказал вам идти с музыкой? – пылко крикнул Милорадович.

Во фронте не по росту, как на немецкой карикатуре, стоят старики в распашных зеленых кафтанах Павловых времен, в красных камзолах и в смешных треуголках с бумазейными галунами, костлявые чучела с жидкими косицами, торчащими на медной проволоке, – гарнизонная команда, которую забыли в Кремле.

– Эва, мать, честная, проворной енарал, – прошамкал солдат, пятясь от коня. – Мотри, солдатству ноги отдавишь.

– Музыка, молчать! Где командир?

Старинный марш вздохнул и умолк. Маленький старичок в огромной треуголке и в черных плисовых гамашах на медных пуговках, ветхий генерал Бронзин, отсалютовал шпажкой и сухо сказал с немецким акцентом:

– В регламент Петра Первого сказано, ежели гарнизон при сдача крепости имеет дозволение выступать свободно и со знамена, то выходить с музыкой.

Милорадович задорно прокричал с седла в лицо старого немца:

– Но разве в регламенте есть что-то о сдаче Москвы? Прикажите музыке молчать, проворно ступайте на Коломенскую дорогу... Что вздумали, по регламенту, с музыкой... Скорым шагом – а-арш.

У Поклонной горы в лицо генерала хлынул простор. Он подозвал лейб-гвардии гусарского полка штаб-ротмистра Акинфова. Письмо фельдмаршала должно вручить в авангарде французов Мюрату.

Акинфов, восторженно побледнев, подтянул чешую кивера и побежал к коню.

Милорадович знал долгие любезности фельдмаршальского письма: «Ежели французы желают занять Москву целою, они должны, не наступая сильно, дать нам спокойно выйти с обозом и артиллерией. Или же генерал Милорадович будет драться до последнего человека».

Милорадович сел крепче в седле, высек огниво, затыкнулся и выдохнул табачный дым.

С трубачами из конвоя Милорадовича Акинфов проскакал в передовую цепь французов. Письмо Светлейшего принял командир неприятельского авангарда, маленький и смуглый генерал Себастиани.

Авангард французов медленно, точно не решаясь, придерживая коней, потянулся к Поклонной горе: условия Светлейшего приняты.

Жаркий, в поту, Милорадович подскакал с трубачами к скамье у кладбища.

Светлейший сидит, прищептывая, морщинистые веки закрыли глаза, может быть, дремлет:

– Москва сдана. Неприятель двинулся на заставы. Казачьи пикеты отходят.

В два часа пополудни авангард французов вступил на Поклонную гору.

Солдаты императора, черные от загара, охриплые, пыльные, едва движутся, затаивая шаг, затаивая дыхание. Прокатил тихий, радостный гул:

– Мос-с-с-ку-у-у...

Блистательный Мюрат, в бархате и в страусовых перьях, заскакал на Дорогомиловскую заставу. У полосатого шлагбаума французские кирасиры смешались с казаками. Бородатые московиты, озираясь, продираются между тяжелых коней и кирас, влетели в пыльную улицу, унеслись синим клубком.

На Поклонной горе в завесах пыли маячит маленький серый всадник: император на Поклонной горе, блестит его зрительная труба.

К Тверской заставе от Рузы и Звенигорода текут армии вице-короля, Понятовский ведет от Вереи польских улан, за ним – маршал Даву, к Тверской и Коломенской в клубах пыли движется конница. В золотистом мареве Москвы величественным сиянием плывет купол Воспитательного дома.

Наполеон резко сорвал с руки перчатку. Перчатка лопнула по шву. Он разостлал карту на горячем седле. Замечает на щеку жесткие черные волосы.

Ударил сигнальная пушка, как гром, открывающий душную грозу.

С коротким лязгом, рванув стремяна, прыгнули в седла, притиснули к грудям тесаки, ружья, шпаги, конница, артиллерия, пехота, французы, баварцы, поляки, итальянцы, испанцы, – бегут.

Грохот колес, топот бега, взрывы дыхания слились в быстрый гул, сверкания меди и серебра в жарком ветре, чудовищными маками, наклонясь вперед, летят красные султаны императорской гвардии.

Померкло солнце от пыли. Гремит земля.

Валторнист итальянского пехотного полка, черный от загара мальчишка, первый заметил на валу императора, крикнул жадно и яростно, оскалив белые зубы:

– Вв-вивв-лемпрерр...

Свистящий рев обдал Наполеона. Пронзительно ударила музыка.

Сойдя с коня, Наполеон шагает по Камер-Коллежскому валу. Он скашливает от пыли, горячо обдающей его смуглое лицо.

В Москве, на Иване Великом, соборный ключарь ударил к вечерне, поплыла было медная дрожь и тотчас утихла: в Дорогомиловскую, Пресненскую, Тверскую, жмурясь от вечернего солнца, в блеске амуниции и медных орлов, шумя перьями и султанами, катится армия императора.

Москва открывалась, огромная и пустая. Теплая заря светила на крутых боках куполов, на позолотах и колоннадах, реющих в тишайшем воздухе вечера. Над московскими крышами и крестами отлетали куда-то голуби в млеющем небе.

На Арбате, семена, бежит итальянская пехота, вдоль заборов скачут польские уланы. С Кремля нестройно и жидко защелкали выстрелы. Троицкие ворота в Кремле завалены бревнами. Против ворот выкатили пушки.

На Арбате загремела картечь.

Ворота разбили. Конница короля Неаполитанского с музыкой потекла в Кремль.

Польские уланы сгоняют к красной стене босых мужиков в домотканых портках, подростков, квартальных солдат: их захватили с оружием. У мужика опалена борода, щека почернела от пороха.

Тот самый нетрезвый барский слуга, который распугал поутру голубей, стоял теперь у кремлевской стены, под наведенными ружьями, освещенный закатом, как пылающий сноп.

III

Несет пыльные тучи, точно далеко машут дымные крылья. Солнце летает в поднятых песках косыми блистаниями.

Гренадерский нагрудник Кошелева от пыли стал бархатным. Обсохший, состаревший от походов, темный от загара, Кошелев приподымается на стременах. Его гнедой Тезей, храпя, грызет замыленный мундштук. Гудит и сотрясается мутная дорога, стада теней катятся во мгле, будто сам Харон гонит полчища душ в мутные воды Стикса и тысячи голосов тянут один стелющийся звук:

– А-а-а-а-а...

Сноп молний стряхивают стекла карет, плывут возы, рыдваны, качаются пыльные слуги на высоких запятках. Дворовые бегут у колес, у всех шапки в руках. Орут ошалелые возницы, гремят фуры с казенной кладью, ныряют в серую мглу, у солдата-фурлейтора точно бы не одна голова в кивере, а много дрожащих голов. По блистающей крыше кареты бегают, приседая, лягавый щенок.

Кошелев поскакал канавами вдоль дороги. На него наплыл пехотный строй.

– Братцы! – Кошелев осадил Тезея. – Братцы, не слышал кто, Голицынскую гошпиталь погрузили?

Солдаты молча шарахаются под морду коню, Тезей стряхивает шапки мыла на стоячие воротники.

По канавам, опираясь на трости, прыгают офицеры. Кошелев узнал их в пыли по теням высоких треуголок.

– Господа, не знает ли кто о Голицынской гошпитали?

Пыльный армеец в зеленом мундире замахнулся на него треуголкой:

– И-и, батюшка, куда прешь, – армеец красным фуляром утер блестящую лысину и седые височки. – Про Голицынскую не слышал... Сказывают, все гошпитали французу оставлены. Што творится, судырь ты мой, и-и Боже праведный... Жив будь Суворов, уже показал бы сию ретираду... Мошенники, клейма им ставить.

Пехотного капитана снесло в пыль.

Форейторы в гороховых шинелях трясутся на пристяжных. У одного в руках фонарь на шесте, разбиты пыльные стекла. На крутом возу торчмя стоят клавесины. С Балчугов или Сивцева Вражка плывет барский дормез, окруженный босыми рабынями и плосконосыми калмычатами в архалуках.

Кошелев знал, что брат Павлуша лежит в Голицынской больнице, о том сказывал гренадерский лекарь, молодой немчик, бывший наемни в Москве с лазаретными линейками.

Последняя встреча с братом была летом, на Смоленской дороге. Кошелев помнит, как гренадерам запрудили дорогу мужицкие телеги, обоз раненых.

Мужики и солдаты галдели, раненые ругались или стонали, будто нарочно. Кошелев прыгнул с коня, чтобы размять ноги. Пошел вдоль телег.

– Бр-а-а-тец, – позвал его с телеги Павлушин голос.

Брат, бледный и похудавший, морщась от боли, пытался сесть в сене. С плеча сползала шинель. Был пропитан темными пятнами его голубой гусарский ментик.

Кошелев нагнулся к телеге и побледнел от запаха гноя и корпии.

– Павел, Бог ты мой... Тяжело?

Мальчик поморщился и прошептал, отвертываясь:

– В живот.

– Бог мой, в живот... Сказывал, не ходи в армию, поспел бы, так не послушал... Бог мой... Где ранен, когда?

– Под Смоленском, сударик, оны тоисть уси под Смоленском ранеты, – приветливо и охотно сказал за Павлушу русобородый плотный мужик.

Возчики без шапок столпились у телеги, слушая, как черноволосый барин пеняет барчонку.

Костлявые солдаты, обмотанные тряпьем, точно Лазари в пеленах, подымались в телегах. Егерь в кивере, вбитом на обмотанную голову, стал во весь рост и погрозил кулаком:

– Тро-о-огай...

Из кожаной сумки Петр вытряхнул брату в сено кiset с червонцами, комок полотенца, пистолетный пыж, тумпаковые часы, томик Вольтера в пергаменте, надкусанную пшеничную булку с изюмом, все, что было в сумке.

– Куда приказано их везти? – зеленоватые, с бархатными точками, глаза Кошелева стремительно окинули мужиков. Во всех глазах скользило серое небо.

– В Москву, известно куды, – недружно загудели возчики.

– Слушайте, вы, ежели мне брата не сбережете, ежели вы...

– Не надобно, братец... Мне хорошо, – Павлуша поморщился и поднял к лицу сквозящую кисть. Петр прикрыл его шинелью.

После свидания на Смоленской дороге он больше не встречал брата.

– Что творится и-и, Боже мой праведный, – вспомнил Кошелев слова армейского капитана и подумал: «Быть не может, чтобы Павлушу оставили в Москве».

В орешниках, с обрыва, снова открылась московская дорога.

Внизу идут бородачи в синих кафтанах, по виду купцы или сидельцы, бабы с ребятами, попы в бархатных камилавках, мастеровые, похожие обритыми головами на каторжных. Все грудятся под многопудовым киотом.

Пылают кованые ризы, душный ветер бьет ленты икон, киотные шесты скрежещут на полотенцах, точно у мастеровых и купцов железные плечи. Кошелев с изумлением смотрел на медное шествие.

Скоро копыта Тезея затопотали по бревенчатому настилу, и чем дальше в пустой квартал ступал конь, тем согласнее и печальнее доносился рокот московского отхода.

Потянулись сумрачные пустыри, низкие строения старообрядцев, белые дома в один этаж под железными кровлями. Ворота постоянного двора отворены настежь. Пусто в квартале. Бухнул далекий пушечный выстрел. Кошелев придержал коня, покуда не смолк мягкий гул. Он заслушался согласного шума, похожего на дальнюю музыку.

Из-за угла насккали донцы. Казаки пригибались к седлам, красные пики прыгали у стремян. Один казак, безбородый, с одутловатым лицом, круто попятил коня:

– Ваше благородие, куды? Ай не знаешь, – он в Москву зашелши?

– Полно врать, борода.

– Ей-Богу, зашелши, – казак прижал пальцем ноздрю, шумно высморкался на мостовую. – Повертай... Вся евонная сила по городу прет.

Вдруг полоснуло огнем, шарахнулся Тезей, Кошелев потерял стремя. И когда Кошелев поймал стремя, казаков не было, а с конца пустой улицы редкой цепью, ружья наперевес, медленно подымались солдаты в синих мешковатых мундирах с красными нагрудниками.

Тезей заупрявился. Кошелев обрывал тугую пистолетную чушку, когда его окружали французы.

Смуглый сержант с обвислыми усами приставил штык к потной груди Тезея. Конь успокоился. Сфыркивая и чихая, он замотал головой, точно здороваясь с французами.

Другой солдат вырвал у Кошелева пистолет. Сержант сказал что-то повелительно и подал Кошелеву потную руку.

Кошелев сам прыгнул на землю. Тяжело дыша, он стоял среди синих солдат, и ветер шевелил его влажные волосы. Француз с оборванной эполетой, сверкнув зубами, ударил Тезея

прикладом по заду. Конь дрогнул и поскакал, звеня пустыми стремянами. Солдаты коротко рассмеялись.

«Я потерял кивер, – подумал Кошелев. – Я в плену».

Солдаты шли кучкой за русским офицером, негромко переговариваясь.

На улице вольным строем стоял неприятельский полк, ружья были сложены в козла, а солдаты полулежали вдоль забора. Кошелеву приходилось прыгать через пыльные ноги.

Это был испанский батальон, выдвинутый к заставе. Сержант за рукав подвел Кошелева к тучному полковнику в зеленом мундире. Седой испанец сидел посреди мостовой на барабане. По животу, на желтом жилете, были отстегнуты медные пуговицы. Испанец что-то жевал, и его обрюзглые щеки шевелились лениво.

Он кивнул Кошелеву и застегнул на брюхе медную пуговицу.

Уже была ночь, когда Кошелева вели по московским улицам и когда он узнал стену Кремля, отвесную громадную тень в зеленоватой пустыне неба. На площади горели костры, ходило зарево по низу стены. Французы, у многих мундиры внакидку, подымались от костров и вглядывались в идущих.

На Красной площади рокотал мягкий, успокоенный говор. Точно бы площадь, и небо сентябрьской ночи, и озаренный, как в Пасхальную ночь, Кремль, точно вся Москва рокотала в сладостном опьянении.

В Кремле, у церковной стены, лошади шуршали сеном. Одна покосилась на Кошелева.

Сержант подвел его к гренадеру в медвежьей шапке с белыми кистями.

Гренадер перекинул на руку ружье, сказал что-то вежливо и негромко и толкнул в стене кованую дверь.

IV

К утру небо заволоклось тихими тучами. Горела Биржа, над ней качался столб черного дыма.

Утром французы стали сгонять к Спасским воротам русских пленных.

Их набралось в Москве сотен шесть или семь. Тут были белобрысые рекруты с ребяческими, шалыми глазами, отсталые солдаты, у которых растертые в кровь ноги обмотаны тряпьем, ополченцы с медными крестами на поярках, квартальные с бляхами на киверах. В толпе были и нетрезвые. Они особенно старательно шли к Спасским воротам.

Когда два гвардейских эскадрона показались у Федосеевской усыпальницы, у каменной стены, над которой шумели пыльные березы, там повалилась на колени толпа бородатых людей, похожих одеждами на языческих жрецов.

Четыре жреца стали посреди дороги, подняв над головами деревянное блюдо, с круглым хлебом. Эскадронный офицер схватил одного жреца за рукав и, выпучив глаза, закричал: «Марш, марш».

Бородачи с блюдом, подхватив полы кафтанов, перебежали к стене, пали там на колени и снова подняли блюдо.

За гвардейскими эскадронами, в облаке пыли, на сребристом арабе, молодой кобыле, которая тревожно ржала, расширяя красноватые ноздри, скакал, почти не трогая повод, император. Он был несколько бледен после неудобной ночи. За императором тесно шли кони маршалов, гарцуя по привычке.

Пустым Арбатом к Кремлю тянулась артиллерия.

Между тяжких колес ныряли на дулах гербы всех держав и народов Европы: австрийские орлы с поджатыми крыльями, польские крест и орел, гербы Людовика Шестнадцатого, два пышных икса в узоре лилий, вензеля Фридриха Прусского, вензеля Наполеона в победном венке, гербы революции на пушках Конвента – медные стрелы над пламенеющей звездой.

Артиллеристы, ныряя с пушками в пыль, срывали кивера и кричали.

Император с нетерпением похлопывал коня по влажной шее. Прогремела артиллерия, и пустой Арбат стал еще глуше, затаеннее, и копыта маршальских коней зловеще застучали на деревянных мостках.

У Богородицких ворот Наполеон прыгнул с седла, мгновенно показалась под серой полкой плотная ляжка в синей рейтузе. Он стянул перчатку, пропотевшую к концам пальцев, махнул ею и сказал что-то с хрипцой, бодро и весело. В блистательной толпе прошел одобрительный гул.

И когда Наполеон любовался на стены Кремля, на штабной стоянке в деревне фельдмаршал Кутузов, покряхтывая и почесывая грудь, заросшую седым волосом, наказывал денщикам истопить себе баню, да поядренее, черную, с выволоком, баньку в даровых пристройках.

Вечером денщики под руки провели фельдмаршала по двору. На полке в парильне мылил Светлейшего солдат шереножной команды Бабушкин, а в подбанщиках у него штабной роты нижний чин Агы-Кулаев, касимовский татарин, что ходил у Светлейшего в денщиках.

Касимовец, поддегивая мокрые подштанники, мылил отменно, вздувал пену в пушистый свод и крепко скреб фельдмаршальскую голову, пощипывая языком.

В пару и в банной мути было слышно шипение, плеск воды и поухивание Кутузова под шершавыми руками солдат, то сладкое старческое ахание, то чмокающий звук, то мокрое хлопанье ладоней об обширную спину.

Солдат Бабушкин, лысый, с мокрыми баками, обвисшими в жидкие косицы, обливал спину Светлейшего теплой водой из шайки.

Копеечная свеча была прилеплена к обугленному бревну. Фельдмаршал, обессилив, охая и постанывая, смотрел на ее огонек. Побелел размытый шрам на его лбу. Мокрая спина фельдмаршала, рыхлая и белая, в мягких складках к животу, уже растерта в горячие полосы.

Настала ночь с теплым ветром, шумно качавшим березы кругом баньки, когда Кутузова, расслабевшего и горячего, расстегнувшего ворот голландской рубахи, куда наплыла дебелая шея, Агы-Кулаев и Бабушкин вывели под руки в темный сад.

На гребне, у дороги, стоят в ряд люди, как узкие тени. За ними дышит красное небо.

Фельдмаршала под руки повели на гребень. Он не узнавал офицеров и генералов, освещенных заревом: страшные, докрасна раскаленные лица и впалые глаза.

Далеко и низко в черном небе волной восходит огонь.

Зашумел теплый ветер в лицо. Отсвет пожара горит, угля в слепом оке фельдмаршала, а другое черно.

Кто-то посторонился и сказал, вдохнув ветер:

– Москва... Господи, Боже мой... Горит Москва.

V

В Кремлевской церкви Спаса Преображения на Бору, куда французский гренадер толкнул Кошелева, в верхнем углу Царских врат мерцает позолота.

На каменном столбе видны византийские башмаки святых Гурия, Самона и Авива, а их головы тонут во тьме.

Кошелеву кажется, что люстра, дрожащая хрустальями, и светящийся верхний угол врат, и невидимые в высокой тьме святые слушают рокот Москвы, звон французских сигналов. На церковном ларе, где сидит Кошелев, навалены французские плащи грубого сукна. От плащей пахнет дымом и конской мочой.

Он брезгливо потянул к себе одно из покрывал. Аксельбант оборвался, он бросил его под ларь: все равно.

Кошелев, до щепетильности любивший опрятность, тонкое белье, растирания жесткой щеткой по утрам, больше всего был оскорблен тем, что он не умыт, что застыли ноги в узких сапогах, а мундир пропитался чужим запахом дыма и лошадей.

За решеткой церковного окна все шире краснел кусок ночного неба, точно оно дышало.

Тени от решетки пали на плиты, церковь заполнил красноватый туман. Высоко, в потемках, блеснул бок медного венчика. Тогда Кошелев понял, что тягостный звон не сигналы, а шум пожара.

Он стал бродить по церкви.

За престолом была дверка в ризницу. Она подалась, за ней был узкий душный проход без окон и другая дверка, на лестницу. Кошелев, подымаясь, едва протискивался в тесноте и упирался локтями о стены. Он делал все, как во сне.

По волосам дуло прохладой. За поворотом стены было узкое окно: он увидел под окном поленницу дров в светах зарева.

Это была площадь Московского Сената, закиданная бумагами.

У Арсенала выкачены пушки. Там ходят, там сидят на пушках французские артиллеристы. Кошелев высунул из окна ногу и стал шарить носком по дровам, где бы ступить. Он без шума выбрался из окна, лег ничком. Береста пахла сыро и приятно. Он послушал, как отдаляются шаги часового и прыгнул с поленницы в тень.

Пригибаясь, придерживая французский плащ, он побежал у зарядных ящиков. Его тень замелькала на красноватом песке. Кошелев подумал: «Сон, сон...»

Вдоль ящиков он добежал до ворот. Там стояли французские солдаты. Они смотрели на зарево, охватившее высокое небо, и тихо переговаривались. Все освещенные лица казались необычайно красивыми. Никто не оглянулся на Кошелева. Из ворот на площадь он вышел наискось, к Василию Блаженному. Побежал.

В небе темнеет обширный пропилей барского дома. На другой стороне стекла зияют отблесками, точно все ожили и повернулись к зареву. У низкого строения с черным орлом над воротами мерно ходит часовой.

А за поворотом в лицо Кошелеву дохнул жар.

На тесной площади качало толпу, все протяжно мычали, как глухонемые. Кошелева внесло в темный проход. Он видел, как куски сукон, разматывая, перекидывают с рук на руки. Он задыхался от гари, пытался выбиться из толпы. С гулом обвалилась дощатая стена, за ней открылся огненный омут. Кошелева понесло куда-то с толпой, на дым и блеск выстрелов. И все промчалось, как быстрое сновидение.

Он бежал горбатым переулком, он видел мерцающее небо над головой. Может быть, ему померещилась глухонемая площадь, но его руки обожжены и горят. Ему показалось, что руки

в крови. «Я проехался на пожаре», – подумал Кошелев и на ходу стал слизывать ладонь. Она была сладкой и отдавала вишнями: как видно, он раздавил в лавке банку с вареньем.

Послышались догоняющие шаги, он оглянулся.

Двое мужиков – один, костистый бородач в солдатской бескозырке, тащил охапку сукон, другой, с обритой головой в пестрядевом халате, бежал с ним рядом, дыша сипло и коротко, по-собачьи.

Кошелев стал. Костлявый скинул бескозырку и начал пробираться боком. Он склабился и бормотал:

– Мусью, мусью.

Другой, невысокий, с вдавленными щеками, – он был похож на обритого сидельца сумасшедшего дома, – толкнул костлявого в спину:

– Да иди ты... Мотри, нехристь спалевши, не тронет.

– Ништо, какой нехристь. Я сам русский, – сказал Кошелев, уступая дорогу.

– Статья не может, – удивился костлявый, перекинул сукна с руки на руку и надел бескозырку. – Прямым французом смотришь.

– Чей будешь? – быстро спросил малый в халате.

– Я ничей. Я офицер.

– Охвиц-е-е-р, – с недоверием протянул бородач. – Чего ж тут шатаишьси?.. Охвицер, как же... Беглый, чай, из полков.

– Знамо офицер, не видишь. Барин, скряду видать, – перебил его обритый малый.

Кошелев заметил, что он в туфлях на босу ногу.

– А, вашбродие, да чего ж вы в Москве остались?

– Меня в плен забрали, я из плена бежал. Вот и остался. Не знаю, куда и деваться...

– Вовсе, стало, ничей, – осклабился костлявый. – А ты с нами ступай. Москва нам нынче препоручена, схороним... Таперича в Москве как есть все ничьи: бары-то, начальство, сбежавши: попустело от них. Вольность стала, можно сказать.

Оба засмеялись. Их сухой смех почему-то огорчил Кошелева.

– А вы кто такие? – сказал он, идя между ними.

– Мы-то, – осклабился костлявый и не ответил, а малый в халате заговорил охотно:

– Мы-то, вашбродие, когда прямо сказать, из каторжного дому. Он, Филька – вор, я за делание фальшивой монеты, как полагаца, под плети. Спасибочко его сиятельству грахву, как француз подступил, давеча выпустили. Мы известно кто.

Оба опять посмеялись.

«Да нет, сон зрится», – с тоской и страхом подумал Кошелев.

Отряд французских драгун проколыхал на высоких конях. Всадники, завернутые в плащи, вероятно, дремали.

– Сюды, вашблагородие, в подворотню. Костлявый толкнул Кошелева в спину. На пустом дворе в крапивнике блестело битое стекло.

Кошелев ощупью сошел по крутой лесенке в подвал, подалась дверь на кирпичном блоке, хлынули в лицо гул говора и сивушная вонь.

Восковые свечи прилеплены к бревнам, и этот громадный погреб, а может быть, баня, подобен душевой усыпальнице, полной огней. На Кошелева надвинулась голова курчавого мужика или цыгана, лохматые бороды, жесткая голова солдата.

– Барина привели, – крикнул костлявый в бескозырке. – Ей-Богу, охвицер.

– Офицера привели...

– Какого, вашбродие, полку?

– Сюды пожалуйте.

Кошелев сел на мокрую солому. Солдат с жесткой головой, – Кошелев заметил на его мундире бляху квартального, – мигая морщинистой щекой, заботливо стал подгребать ему под ноги солому:

– Туточки ножки, ваше благородие, уложите, туточки соломку собьем.

«Народ», – подумал Кошелев с брезгливой тошнотой и страхом. Он лег в солому лицом и вспомнил внезапно, как давно, где-то, кажется, в Петербурге, слушал ночью невнятные и страшные голоса за дощатой перегородкой. Точно теперь проломило ту перегородку, и вот он в подвале, с чернью, с Филькой-каторжным, на соломе. Он крепко сжал веки. Скоро говор смешался для него в унылое заупокойное пение.

Очнулся он уже в холодных потемках, когда подвал полег в тяжелом храпе и сонном стенании. Он очнулся потому, что кто-то шарил по груди и у шеи, отстегивая шнур его складня.

Рядом с ним сидел на корточках белокурый человек в синем фраке с белыми пуговицами. Глаза человека внимательно смотрели на него.

– Чего надобно, сударь, чего шарите?

Человек во фраке показался Кошелеву барином.

– Пашпорт, какой полковой документ, – вкрадчиво прошептал белокурый. – И мундирчик следоват скинуть: француз, он живо признает, – убеблый... Извольте, сударь, полушубочек принять, рваная, правда, овчинка, дерьмо, а все скроет.

Человек в синем фраке помог Кошелеву стянуть мундир. Были неприятны касания его больших теплых рук.

– Вы не знаете, куда меня вечор привели? Кошелев поежился под жесткой овчиной.

– На заставу, в ошару... Да меня выкать не к чему. Я барский слуга, дворовый его светлости князя Щербатова, подбуфетный, звать Ларькой. Как барство столицу покинуло, мы тут оставлены... Когда надобно что, так и покличьте: Ларька, да Ларька. Не сумлевайтесь, сударь, я завсегда.

– Благодарствую.

– Вот овчинка моя и понадобилась. Пашпорт ваш, сударь, дозвольте.

– Да у меня нет.

– А, когда нет, так и нет...

Ларька принял в охапку мундир и подвинулся.

Этот вежливый слуга с бабьим голосом стал неприятен Кошелеву. Было противно его дыхание, отдающее вином, и его посапывание, но особенно противно было Кошелеву, что он ошибся и почел Ларьку за барина.

VI

Если бы в Санкт-Петербурге в полдень, когда бьет гулкая пушка на крепости и над ясной Невой скорым облаком прокатывает румяный дым, или в те дни, когда он стоял над Невой, а ветер трепал флажки у дамбы и блистал медный шлем Афины Паллады на куполе Академии художеств, если бы тогда сказали ему, что он увидит такое небо Москвы, покрасневшее от пожара, и каторжную чернь, товарищей его московской ночи, что будет лежать с ними на вонючей соломе, в овчине, — он не поверил бы, отказался бы поверить такой своей судьбе. Все великолепные и пышные слова, которые он привык слышать, россы, северные Ахиллесы, внуки славян, идущие в брань за отечество, и то видение медной Паллады за Невой, здесь, в ошаре, казались и ненастоящими и неверными.

А настоящим был этот квартальный солдат с мигающей морщинистой щекой и нетрезвый слуга в синем фраке, ошаривший его на рассвете, и костлявый Филька-вор, чернь, с которой его свела нечаянная судьба.

Он всегда брезгал нечистым, воняющим сивухой, чесноком и рыбой простонародьем. Правда, он любил солдат, но и с ними был только холодно-вежлив. А черный народ, кишевший где-то внизу, под колоннадой империи, дремучая тьма и дичь, находившая иногда в самые глаза лохматыми бородами, противными поклонами оземь, купцы с выбритыми под шапку затылками, идущие вперевалку, как пузатые синие гуси, попы с сальными волосами, похожие на брадатых баб, кислая вонь и духота мещанских домов, пыльная пустыня провинции — вся та невыносимо-тусклая и невыносимо-унылая, невыносимо-пестрая и несуразная, буйная, тяжелая и некрасивая Россия подымала в нем чувство вражды, брезгливости и страха. Но он жарко желал ей просвещения, вольности, гражданства, он сам не знал чего, но чтобы вся она стала светлой, высокой и стройной, как золотогрудая и прекрасная богиня на высоком куполе за Невой.

Кошелев презрительно усмехнулся и тотчас покраснел: его оскорбило до тошноты, что под пальцами, на шее, он раздавил вшу. Замшевого мешочка с бирюзовым складнем не было. Уже изловчился, видно, срезать складень тот Ахиллес в синем фраке.

В ошаре было пусто. Только под окном, откуда падал пыльный столб солнца, сидел рослый солдат, оперев желтоватую руку на кивер. «Отсталый, беглый», — с равнодушным презрением подумал Кошелев.

Солдат пошуршал соломой и сказал, слегка заикаясь:

— Зд-здравия желаю, ваше бла-ла-городие.

— Здравствуй.

Жесткие пыльные баки солдата, его жидкие волосы, зачесанные через лысую голову, мягко светящиеся глаза, под которыми были морщинистые мешки, и особенно три продольных морщины на лбу, как у античного философа, показались Кошелеву знакомыми.

— Да ты постой, братец, ты какого полка?

— Гренадерского, что и вы. Не признали меня, а я живо в-вас признал: вто-второго батальона, роты шестой, а я перь-вого, т-третьей, штрафной Родивон Кошевок.

— Как же, помню тебя.

Точно Кошелев вспомнил что-то смутное о старом солдате, который был в бегах и которого наказывали перед строем. Он вспомнил Бородино, когда гренадеры стояли сомкнутыми колоннами под огнем и было слышно в рядах голготание раненых. От правой шеренги отогнали белую собаку. Она носилась по рядам, заложив уши, и взлетала, когда гремело ядро, она потерялась, как видно, и обнюхивала на бегу сапоги солдата. Один гренадер, кажется, этот старик, нагнулся, похлопотал ее по голове и собака прижалась к его прикладу.

— Конечно, я знаю тебя... У тебя собака была.

— Так точно.

Солдата сунул руку в солому.

Грязная белая собака с шерстью, свалявшейся в комья, поднялась, поволочив заднюю лапу, и ткнулась в ладонь солдату головой. Лапа была перевязана тряпицей.

– Она с-самая, – сказал гренадер, заикаясь. – Пушай бы у меня в грудях дюже недужило, силу я потерявши, а Москву и хворым бы в-в строю миновал, а вить ей на мосту лапу колесом переехало. Тогда я выступил из фрунту. В-в-выходит, я нынче беглый повторно...

Солдат вынул из-за пазухи деревянный поломанный гребень и стал вычесывать собаке блох. Она стояла тихо, уткнув голову в его острые колени. Солдат просматривал гребень на свет, выдергивая из зубцов мотки грязной шерсти.

– Вот как свидеться довелось, – сказал Кошелев, следя за руками гренадера. – Что теперь будет?

– А что будет: пропали, – спокойно ответил гренадер, просматривая гребень. – Таперь он скорым маршем во вт-вторую столицу пойдет. Легла Россей.

– Полно тебе.

– Что полно, я знаю... Россей – пропала земля. Еще когда показано было, что пропадет.

– Да что показано?

– А то... Да вить разве поверите, когда барин.

Собака заскулила.

– Ну, пусть показано, – усмехнулся Кошелев. – Ты мне лучше скажи, куда ночлежники подевались?

– Те-то. Те сволочь и каторжные. Те поджигать вышедши.

– Не понимаю, что поджигать?

– А все, какие дома, строения, магазейны, все до остатнего поджигать, Москву сказано спалить, чтобы пепел один.

– Бредишь ты.

– Никак нет, не брешу, – солдат недослышал. – Я знаю, что поджигать вышедши.

Он посмотрел из-под бровей пристально и сурово:

– А я в-вас вовсе признал: вт-второго батальона капитан Кошелев.

Собака, пошуршав соломой, встала.

– Куды, не лазь, – жестко прикрикнул солдат, отгоняя собаку от Кошелева.

– Зачем ты ее?

– А затем. Чего ей к барину лезть... Когда, в-ваше благородие, идти собрался и верно, что уходи. Чего тебе с каторжной сволочью... Верное слово, иди.

VII

На дворе, куда вышел Кошелев, шумели пыльные березы. Тускло отблескивал и стлался у забора крапивник.

На улице огромно открылось небо. По краю его росла косая туча, дышал в лицо теплый ветер.

Кошелев подумал, что черная туча не гроза, а пожар, что Геростраты из арестных домов и рабы с факелами сжигают Москву. Это показалось ему таким невероятным злодейством, что он сказал вслух, с раздражением:

– Гроза собирается, не пожар.

Он шел посреди мостовой. Туча в конце улицы стала багрово отсвечивать, накаляясь изнутри, и Кошелев понял, что там начинается то, чего никто не ждал и чего не остановить теперь никому.

Судьба оставила его в сжигаемой Москве, он подчинится судьбе: он отыщет брата Павлушу, найдет московский дом. Теперь будь что будет, а он ни в чем больше не властен.

На улице у ворот низких домов стали встречаться пыльные коляски.

Отпряженные лошади жевали сено, натасканное к колесам. На одной коляске, спиной к лошадям, сидел француз в кожаном жилете и в красном колпаке набекрень. Он что-то ел с бумаги, разложенной на коленях.

У ворот двое солдат в красных колпаках рубили говяжью тушу.

В коляске, положив на сиденье ноги в рыжеватых сапогах со шпорами, спал неприятельский офицер. Лицо спящего было накрыто платком.

Были отворены железные двери церкви, и Кошелев заметил, что в притворе задами к улице стоят гнедые кони, отмахивая хвостами. У коней, в сене, спали на полосатых одеялах французы.

В потемневшем воздухе замелькал желтоватый блеск. Было видно, как в конце улицы суется уланы в лакированных шапках с желтыми шнурами, как выводят из ворот лошадей, накидывая седла.

Один улан подбежал к мужику, который шел впереди Кошелева. Мужик, испитой мастеровой в халате, обернулся. Его волосы были подобраны бечевкой. Улан ударил его саблей плашмя по лицу, мастеровой замахал руками. Кошелев слышал вой мастерового и глухие удары, он побежал, не оглядываясь.

Открылась площадь с пригорка и черная толпа.

Кошелев подымался на носки, заглядывая поверх голов, он опирался на чьи-то спины и плечи. Также опирались на него.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.